

Вот оно – одиночество. Тишь в доме. Богатыри нет и в помине. Только и остаются надежные друзья – книги. Они, кажется, всегда верны своему владельцу. К ним обращаюсь реже и реже. Чаще прикладываюсь к стакану. Понимаю, – не стоит. Остановиться не могу. Причем в первые месяцы одиночества выпивка помогала. Забывался на время. Тоска отпускала. Правда, потом понял – лишь на время. Только остановиться не мог. Однажды поймал себя на мысли: «Стали в памяти образовываться провалы. К ужасу моему – они не заполнялись ничем». В промежутках просветлений попадал на работу. И обязательно находился заводной коллега. Я опять не сдерживался, входил в вираж, в штопор. Утром давил из последних сил запасенные заранее лимоны. В стакан цедились яркая желтая жидкость. Испортил два-три цитрусовых шарика, нацеживал с полстакана сока. Морщился. Судорожно вздрагивал. Пил через силу. Легчало. Отпускало голову. К полудню оживал. Семенил в ближайший продуктовый. Сквозь тряску и качку добирался обратно. Смотреть по ходу на людей не отваживался. То ли от стыда. То ли от собственной брезгливости. То ли от чувства ничтожности. Я ненавидел себя в эти утра. Уговаривал себя бросить спиртную затею. «Она может и не отпустить», – твердил себе сквозь дрожь во всем теле. Пробовал, и ничего не получалось. Поправлять здоровье надо было непременно. Иначе лопнуло бы все. Разлетелось на кусочки.

Несколько раз поутру едва сдерживал рвотный рефлекс. Не столько от состояния нутра, сколько от душевных мук: на диване рядом обнаруживалась некая особа. Все бы

ничего, только от них, от этих дам, всегда разило, как от заядлых выпивох. Да и возлежали они на диване, в чем мать родила. Не всегда в художественных позах. Я оглядывал тут же себя. Обнаруживал кровавые следы поцелуев. «Хорош!» – шептал в пол. Хмель улетучивался со сверхъестественной скоростью. «Надо кончать с этой пошлостью», – добавлял уже со вздохом. Брел в ванную. Надраивал себя мочалкой. Почти кипятком старался смыть следы и запахи вчерашнего похождения. Будил очередную «спящую красавицу». Надо сказать, иногда они были действительно таковыми. Она не соображала, кто я, и где она находится. Сжимала голову руками. Тяжело дышала. Пыталась найти детали одежды. Вдруг просыпался стыд. Она подтягивала к себе одеяло. Прикрывалась им. В это же время картинно заламывала руки. Каялась во грехе. Клялась, что впервые. Только вчера рассталась с единственным. Хотела просто напиться. Расслабиться.

Иная молча, с чувством гордости открывала глаза. Торжественно демонстрируя наготу, уплывала в мочный закуток. «Подновленная», ступала из ванной павой. Так же – безо всего. Медленно искала одежду. Медленно одевалась. Медленно, почти томно просила сигарету и кофе.

Я принимал правила игры во всех случаях. Но женщины начали путаться в почти не трезвющей голове. Не раз еще, находясь в состоянии средней тяжести, подходил к даме с жадной познаться, а получалось, – мы встретились три месяца назад, через два дня разбежались.

Весной девяносто третьего сидел на Блоне. Трезвый до неприличия. Именно тогда,

двадцать второго мая, решил покончить с увлечением спиртным. Заодно и с прочим. Тем более – с последним претерпел некие неудобства. Пришлось в один из дней прийти в серо-голубое здание у крепостной стены.

Боязнь дурной болезни преследовала меня всегда. Но пьяное дело, как правило, бесконтрольное.

Годом раньше, в августе, надел кожаные перчатки и пошел в диспансер. Дверь открывал с оглядкой. Навстречу выпорхнула девица лет девятнадцати. Пот прошиб сразу. Даже капельку, стекающую вниз по желобку позвоночника, почуял. Вот они какие, все эти больные. Друг на друга похожи чем-то неуловимым.

Доктор через три дня развеял сомнения. Выписал рецепты. Предложил проколоть лекарства у них. Пришлось найти в себе силы, чтобы перешагнуть через неприязнь к себе самому – получить необходимую дозу и навсегда сделать зарубку в голове.

И вот я сидел на Блонье. В уголке возле одинокого оленя, привезенного с большой войны в качестве трофея, кучковались «металлисты». Сбрасывались на дешевое вино. Курили дурно. Матерились. Топорщили пальцы веерами. На все вопросы слышался конкретный ответ:

– А что, пусть не лезет! – Кто и зачем не должен лезть, известно лишь говорящим.

Подошла молодая пара к бронзовому животному. Ребенок резвился под ногами. Папа достал из сумки фотоаппарат-мыльницу. Отдал жене. Высокая. Ноги из груди тянутся. Грудь – тоже хоть на подиум. Видная. Волосы собраны гребнем. Голубейшие глаза. Обладательница прелестей взяла фотоаппарат. Отошла. Папа чуть ниже ростом. В трехнедельной бороде. Со лба начинается лысинка. Еще не достигла, но скоро соединится с проплешиной на макушке. Пузико над ремнем и брюками. Непонятно становится всегда – как такие мужички шнуры на ботинках завязывают. В зубах «Беломор». Муж подхватил дочурку. Она залилась звон-

ким хохотом. Усадил на «зверюгу». Жена прицелилась. Сработала вспышка. Девочка засмеялась звонче.

Совсем недавно с фонтанов сняли деревянные щиты. И вода рокотом радуется гуляк и повес. Скоро лето. У бронзовой фигуры композитора звучит музыка. Жизнеутверждающе. На лавочках «проявились» вечные пенсионеры. Делятся опытом выживания в смутное нынешнее время. Отсутствующе обводят взглядами людей и растения. Мамаши выкатили разноцветные коляски с розовощекими младенцами на солнышко. Детвора постарше у театрального крыльца напяливает роликовые коньки.

Весна. Природа походит на девочку, которая вскоре превратится в девушку. На тонкой грудной клетке веток возникнут припухлости. Они сформируются, примут округлую форму и лопнут однажды утром. Дадут жизнь девственным, еще не испачканным пылью листочкам.

В такое время года хочется петь и орать. Орать и петь.

Лес. Там, в чаще и на пригорках, в прохладе, давно возникли, будто ниоткуда, белые лепестки подснежников. В голову приходят хулиганские мысли, слова. Среди стволов можно кричать безбоязненно. Лучшее – слоняться по лесу, заглядывать в лица подснежников; вдыхать запахи и слушать: капли стекают по морщинкам коры деревьев – вниз; поползень сует клюв во все щелочки, и его движения противоположны каплям – вверх; скрипит, жалуется на ветер ствол старой сосны; шуршит росток к небу, приподнимает слой жухлой листвы; в унисон стучат сердца влюбленных – они целуются вдалеке, но сердца, их мелодия слышны повсюду.

Трое ушли. Веселые. Довольные. Тоска резанула по душе. Мамаши с колясками, залитые солнечным светом, прячутся над асфальтом, окруженные облаком счастья. Мамаши со своими чадами. Некоторых детишек сопровождают отцы. Я, разменявший четвертый десяток лет, ни разу не держал этот сказочный поручень коляски. Оставалось

одно – встать и уйти. Покинуть островок чужого счастья. Унести с собой собственные сомнения в будущем, метания в настоящем, боль прошлого. Стоило напиться. Но – не стал. Раз решил не прикасаться к «ней», значит, – решил твердо. Себе врать – хуже всего.

«Очнулся» на берегу реки. Внизу. У недостроенной набережной. Здесь ручей впадает в неширокие воды реки. За спиной – башня церковки, некогда встроенной в стену, в ней когда-то жил однокурсник. Странно ушел он из жизни. Сам или при чьей-то помощи попал под поезд? Кто знает... Теперь попасть внутрь башни невысказано – здравенный амбарный замок пресекает любые попытки вторжения.

Движение воды успокоило. Невдалеке, у моста, рыбаки то и дело забрасывали удочки. Клевало. По струне моста сновали машины, деловито и нерасторопно желтыми пунктирами двигались автобусы, погромыхивали красные железки трамваев. Спешили люди – маленькие издали, похожие на сказочных оловянных солдатиков. Вся суета у подножия Успенской горы казалась ничтожной. Над ней, над этой никчемной суетой в голубоватой дымке парил собор. Туда, в дымку, я и шагнул.

Ступени. Еще. Ступени полукружием. К низкому арочному проходу. На площадку перед храмом. Крыльцо. Полумрак. Черные доски икон в золотых оправках резьбы. Потрескивание свечей. Шепот молитв. Старушки на лавках. Мальчишка усердно крестится. Неслышно, одними губами, говорит под купол. «Там» все слышно. Будний день. Ищу священника. Он выходит из резных ворот. Здравуюсь. Прошу исповедать. Впервые за последние несколько лет. Он принимает мое покаяние. Выслушивает. Произносит: «На все воля Божья». Мне становится легче.

Следующие месяцы протекают налегке. Новый год встречаю один. Никуда идти нет желания. Выпиваю бокал шампанского. Съедаю кальмаров и «оливье» – без него не обходится ни один праздник в России. Телевизор бормочет «Старые песни о главном».

Надевает. Втыкаю в видик любимого Тарковского и с «Зеркалом» вступаю в будущее.

\* \* \*

Первая суббота февраля. Всегда в этот день школы России наполняются гомоном взрослых людей. Это значит – настало время встречи выпускников. Приходят, приезжают, прилетают в свои классы поседевшие, бородатые, пополневшие или худые, очкарики и нормальные зрячие. Вопрос «А помнишь?» – летит из одного класса в другой. И нет за спиной десятков лет. Повсюду Сашки, Галочки, Валюши, Олежки. Или – «бэшники», «ашники», «вэшники». Правда, в полном составе ни один класс никогда не собирается. Иных уж нет...

– Помните, как Валюшка устроила конкурс на лучшую песню? У нас в трех классах было два поющих – Сашка и я. Тогда на картошку, оказывать посильную помощь подшефному хозяйству, ехали! В десятом классе учились. Помните? – почти кричал Сережка. Народ добросовестно силился вспомнить. Не получалось. – Мы спели по песне. Как выяснить, кто победил? А Валюшка вытащила две конфеты из кармана. Подняла над головой. Объявила: «Ничья!»

– А у меня есть фотография, – мы сидим на куче яблок! – восхищенно кричит Эрика.

– Мы разве яблоки собирали? Точно помню картошку, морковь, лен. Но яблоки... – сомневаюсь.

– Зато я помню, как тебе подсказывала, – Галочка напоминает Сашке, – и единицу схлопотала. Обидно до сих пор. И ничего не поделать. Плакала я тогда здорово.

К трем часам ночи выяснилось, что я даже стихи сочинял в юности. Эрика не без гордости сообщила о двух сохранившихся страничках с моими виршами. Потом добавила:

– Ты, надеюсь, не забыл, как мы целовались в коридоре?

Это помнил всегда.

Окружающие обрадовались вскрывшейся тайне. Полетели вопросы:

– В каком классе?

– В десятом, – почему-то мы радовались «в один голос».

– Что за коридор? – не унимались одноклассники.

– У меня дома, – Эрика не выдержала паузы.

– Вечером?

– В половине двенадцатого. Днем. Вечерами ведь родители дома были, – она удивила не только меня такой точностью.

– А ты что можешь сказать в «свое оправдание»?

– На качелях в соседнем детском саду качались. – Наступил мой черед отвечать за «содеянное» в прошлом. Сквозь краску, что залила лицо, говорил.

– Тоже целовались?

– Конечно, – снова в один голос с Эрикой.

– Еще где?

– В спортивном зале. В раздевалке, – хотала Эрика.

– Надо же, столько нового про себя прошлого узнал, – показалось – здание школы лопнуло от смеха после моего признания. Отмечу – чистосердечного.

– Интересно, а сейчас смогли бы вы поцеловаться? – прилетел еще один вопрос. Снова Эрика опередила. Перегнулась через парту. Обняла мою голову. Я ощутил ее припухлые губы. Как тогда. Двадцать лет назад. Замерли все. Померк свет. Исчез. Мы стояли в коридоре. Слева от вешалки. Одежда не позволяет повернуться. Наоборот – подталкивает друг к другу. Я шепчу что-то теплое. Обнимаю Эрику за талию. Пробираюсь под футболку. Ее кожа. Током пронзают прикосновения. Дыхание исчезает. Сердце колотится в горле, в голове, везде и в конце концов вылетает под потолок. Гул одобрения прерывает легкое подрагивание. Надо же, не все забывается, стирается, словно надпись мелом на школьной доске.

К пяти часам утра пришла пора прощаться.

– У тебя есть телефон? – спросил после дружеского поцелуя Эрику. Она ответила цифрами.

Я предложил вопрос:

– Можно позвоню?

– Конечно, – услышал в ответ. Голос прозвенел хрусталем в морозной ночи.

Они жили вдвоем. С сыном. О прошлой жизни спрашивать не стал. Расскажет сама, если захочет. Когда-то, двадцать лет назад, она умолчала о главной причине разрыва. Ее матушка выступила категорически против моей кандидатуры. Любой матери хочется добра своему ребенку. Увы, не всегда усилия родителей приводят к лучшему...

Воскресным утром я накручивал диск телефона.

Мы встретились в крохотном сквере возле «Детского мира». Все те же слегка припухшие губы. Искрящиеся глаза. Нос с легкой горбинкой. Взлохмаченные в меру волосы. Мороз слегка пощипывал щеки. Шубу натянуть не требовалось. Хватало куртки. Даже шапка казалась лишней. Предложение посидеть где-нибудь Эрика отвергла. Сказала, что лучше купить еды и пойти к ней.

Панельная пятиэтажка на берегу городского пруда. Стены подъезда стонут от надписей. Запах, как говаривал некогда народный артист Союза Аркадий Райкин, «спесифись-сь-ський». Последний этаж. Обшарпанная дверь. Глазок отсутствует. Вместо него в отверстии – кусок тряпки.

– Стащили. Кому-то понадобился, – перехватывает удивление Эрика.

Крошечная прихожая. Входишь и упираешься в дверь ванной, совмещенной с туалетом. Вешалка, полка для обуви. Больше ничего не вмещается. Узкий проход на кухню. Миниатюрную. Со стен отваливается кафель. С потолка свисают струпья краски. Легкий беспорядок повсюду. Неубранная постель. Два кресла и диван в большей комнате, телевизор, стенка красного дерева. Дальше не пошел. Ясно стало в обеих комнатах ободраны обои.

– Ты располагайся. Я приготовлю еду. Если есть настроение, – можешь смело оказать посильную помощь.

С удовольствием переместился в кухню. Вдвоем нехитрый обед приготовили споро.

– Давай будем пировать не на кухне, – предложил вонючая.

– Конечно, – согласилась Эрика. Указательным пальцем тронула меня за кончик носа. Улыбнулась. Мгновенно вспомнился характерный для нее жест. Указательным – по носу.

Я откупорил вино. Она достала хрусталь. Остальное нарезали и заготовили раньше. На сервировочном столике красовался легкий перекус.

Вскоре я вышел в прихожую. Полумрак. Сделал вид, что шарю по стене в поисках выключателя. С хохотком Эрика поднялась из кресла. На помощь.

Мне только это и нужно было. Как только она вошла в полумрак, тут же протянула руку в сторону выключателя. Я перехватил ее. Привлек к себе. Эрика подалась навстречу. Я нашел ее губы. Она снова ответила. Как тогда – в десятом классе. Но немного отклонилась. Шепнула:

– Вовка, что ты? Коридор ведь...

– Разве он хуже того, домашнего? Помнишь? – скользнул под блузку. Эрика улыбнулась в поцелуй.

– Пойдем, – потащила в комнату. На белое с розовыми цветами ложе. Дрожь пробилась до макушки: «Неужто так просто происходит?» Остановиться уже не могли. Одежда разлетелась в стороны. Страсть убивала юношескую нежность. Исчезало нечто трогательное. Недосгаемое. Испарялось. Вместе с утренней дымкой, с колоколами к заутрене улетучивалась чистота. И становилось не по себе. Ее поцелуи все-таки стали другими. Более умелыми. Настойчивыми.

Эрика закурила. Немного неловко. Зато жадно.

– Я курю редко. В институте начала. Сейчас почти отвыкла. Правда, разволновалась.

– А где мальчик? Ты так проникновенно о нем рассказывала вчера.

– Завтра бабушка приведет. Он попросил к ней погостить, – немного неуверенно соврала последнюю фразу. Чувствовал – сама уговорила маму взять пацана на несколько дней.

Остаток суток прошел в бесплодных разговорах. В чаепитии. В прогулке по оттаявшим улицам. Немного в воспоминаниях. Она так и не призналась в мамином давлении по поводу наших отношений.

Рабочая неделя. Каждый день расписан по минутам. Каждый день – маленький подвиг: встать, приготовить завтрак, проглотить его, уйти до вечера в обыденность суеты. С Эрикой общались лишь по телефону. Выходные проводили у меня. Иногда – у нее. Но с каждым звонком, с каждым словом в телефонной трубке, с каждым свиданием, с каждым поцелуем приходила уверенность в краткости «романа». Через полтора месяца она попросила срочно приехать. На мое: «Что-нибудь случилось?» – ответила утвердительно. До окончания работы вырваться не смог. Перезвонил. Она явно нервничала.

– Я встречу тебя у выхода, – слезно уронила в трубку.

Она стояла под снежным зарядом. В слезах. Тушь стекала черными струйками по щекам. Губы исказила гримаса. Расстегнутое пальто. Шарф готов вот-вот упасть. Эрика полетела навстречу. Окружила собой:

– Вовка, еле дождалась! – зашептала в ухо. – Ты мне очень нужен! Невозможно без тебя!

– Но ведь тогда, в школе, пренебрегла мной ради Мишки. Или ради кого другого. Теперь это неважно. Или спустя двадцать лет что-то изменилось? На тебя перестали давить родители? – выдал себя с потрохами. Она не знала о моей осведомленности. Но никак не отреагировала. – Ты поумнела? Поняла, что люблю до сего дня и этой любовью можно воспользоваться? – Меня понесло: – Или почувствовала правильность поговорки: «Старая любовь долго помнится»? Хотя... что ты в силах объяснить?

Черные тушевые ручейки всё чертили по щекам. Губы подрагивали. Эрика твердила с точностью магнитофонной записи:

– Вовка, ты мне нужен. Без тебя невозможно. Именно ты нужен. Именно ты.

Мы шли по сумеречному городу в сторону трамвайной остановки. Я надеялся провонять ее до дому и закончить, расставить все точки. По пути, в трамвае, по дороге от остановки до ее дома, продолжал начатое:

– У тебя нет ощущения скорой кончины наших отношений? Думаю, мы нарушили главную заповедь памяти. В одну реку нам не суждено войти дважды, как не суждено никогда вернуться туда, где мы уже были счастливы однажды. Понимаю, что говорю больное. Но не очень распаяйся. Не только для тебя это говорю. Но и для себя. Мне тоже больно. Врачи порой причиняют боль человеку ради его же блага. Чтобы потом меньше болело.

– Вовка, что ты несешь? Я не могу без тебя, родной...

– Тогда, в десятом классе, я мог все бросить ради тебя. Ты? Ты и теперь не способна на это. Теперь, спустя столько лет, когда мы встретились, мне показалось – ничего не изменилось в тогдашних чувствах. Увы, ошибся. Нельзя было переступить невидимую границу памяти. Мы стали другими. Поменялись взгляды на вещи, на мир, на любовь. Происходит смешение, смещение ценностей. Ты разве не заметила, как быстро трепет наших встреч исчез? Они стали обыденными. Нескольким тяготят обоих. Ищем сказку и не находим ее! Мы разрушили заповедь памяти. Именно от разрушения страдаем. Тебе не кажется?

– Вовка, ты мне очень нужен, – не оставались слезы.

Я обнял Эрику за плечи. Поцеловал дружески. Она почувствовала прохладу, вздрогнула. Отшатнулась. Мы молча побрели от мостика через озерко по раскисающему снегу к ее дому. Снежные хлопья размером с теннисный шарик замерли в полете. Облепили нас. Сначала – головы. Потом – плечи. Они создавали скульптуру. Двухфигурную композицию.

Невыносимая боль сдавила сердце.

Кончилась сказка юности. Жаль. Сам виноват. Мог уберечь? Мог убежать от этого?

Мог или нет? Скорее – нет, чем – да. Так, надо понимать, кончилась юность. Тяжко дается ощущение финала. Но ведь все хорошее когда-нибудь кончается, и его размывают дожди, раскалывают молнии и грозы, засыпают снега. Память белеет. На ее поверхности мы пишем тонким прутиком новую историю. Чтобы она растаяла и как предыдущая, скрылась под новым снегом. А мы пишем и отдаем на откуп снегу чувства, и снова пишем, и снова отдаем... И каждый раз, кажется, – забываем все, что произошло однажды, навсегда. И ничего подобного не будет! Но неожиданно из-под наста появляется зеленый росток. Покачивает липкими листочками на тонком стебле. Ничего невозможно спрятать. Все прожитое и пережитое остается в нас. С нами движется вперед. К финальному вздоху. К мигу, когда заканчивается боль, исчезает страх. К мигу, после которого начинается вечность.

Снег. Он не переставал валить и тогда, когда я вышел из квартиры в панельной пятиэтажке, когда спустился по бетонным ступеням и громко вдохнул свежесть вечера. Сюда возвращаться не суждено. Я втянулся в темноту. Чувствовал – Эрика из окна сверлит взглядом затылок, спину. От привычки оглядываться я избавился давно.

Она стояла в парке. Замерзшая. Почудилось – даже пар не появлялся при дыхании. Она стояла под вековым деревом, постепенно превращаясь в заиндевелую веточку. Вокруг сновали люди, машины, пахло свежеспеченным хлебом, кофе из кофейни за углом, сигаретами и морозом. Слез не было. Только бледность. И надежда.

– Привет, – выдохнул сквозь растерянность. Эрика ответила таким же несколько растерянным приветом.

Я обнял ее за плечи. Чмокнул в щеку. Дружески. Зашелестел мерзлый пакет в ее правой руке. С плеча соскользнула сумочка. Эрика успела перехватить ремень.

– Помочь? – спросил и взялся за пакет. Не очень тяжелый.

– Вместе мы проведем сегоднешний вечер вместе? – жалобно пролепетала. – Последний, – протянула просительно. – Ну что тебе стоит? – добавила и взгляделась в меня.

Я вздохнул. Качнул головой отрицательно.

– Пожалуйста, поужинаем только? Я купила немного еды.

Снова, сквозь тупую боль в левом подреберье, качнул головой из стороны в сторону. Она кратко шепнула:

– Только что я поняла, какую ошибку совершила тогда... Неужто в тебе не осталось ничего?

Я упрямо молчал. Глупо. Взял ее под руку. Через несколько минут подошли к моему дому. Она купила еды. Приготовила ужин. Все время неустанно щебетала нечто пустое. Мне оставалось – настроиться на прощальную встречу. Не психануть. Не взорваться от ее пустой молотбы. Поцеловать утром, словно после работы, вечером, встретимся. На самом деле – разлететься в стороны, как облака. Растаять каждому в своей собственной дали. Возможно, встретиться через огромное количество лет. И никогда не ложиться под одно одеяло. Кажется, произойдет именно так. Должно было произойти так.

Следующим вечером Эрика вновь стояла в парке у почтамта. Продрогшая. Уверенная в своих возможностях обольстительной просительницы. И снова я поддался уговорам. Только ночь оказалась долгой, тягостной, выматывающей. Утром сам приготовил завтрак. Водрузил его на поднос. Поставил его на стул.

Запахи разбудили Эрику через несколько мгновений. Она с удовольствием намазывала на тосты масло. Шумно щебетала об утренней пище и ее пользе. Без стеснения, обнаженная, ела. Кажется, ей было приятно показать себя. Она осталась привлекательной. Манящей. Как тогда, в юности. Но многое изменилось между нами. Я молча съел свой завтрак. Выпил кофе. Проглотил лимон. Затем умылся. Сбрил вчерашнюю щетину.

Эрика, не торопясь, натянула ниже белье, джинсы. Выкурила одну за другой две сигареты:

– Что ты мрачен, Вовка?

– Нет, все нормально, – торопливо «выплюнул» в утро.

– Думаешь о предстоящем расставании? Или о новых встречах?

– Думаю. О расставании.

– Не волнуйся, не потревожу тебя. Ничем. Сегодня ведь была наша последняя ночь? – переспросила снова.

– Вероятно, – я, завязывая галстук, ответил.

– Ах, вероятно! – закричала Эрика. Вскочила с дивана. Ногой саданула по стулу с подносом. Зазвенела посуда. Разбилось все, что может биться. В бюстгальтере и джинсах подлетела ко мне. Попыталась рвануть ногтями по щекам. Я живо представил, что было бы, завершись ее нападение удачей. С каким лицом пришел бы на службу. Кто-нибудь непременно сострил бы: «Смотрите, Володя кошку завел. Только не решил еще, на каком языке разговаривать с ней!». Тут же пощечина загорелась на скуле. Я сжал руки Эрики. Захрустели пальцы. Мои и ее. Сощурил гневно глаза. Твердо взглянул в зрачки напротив. Она захолопала ресницами. Испуганно. Зло.

– Родной, Володенька, я погорячилась. Не сдержалась. Прости. Ты же простишь? Володенька? Милый, родной, вырвалось, я не хотела... – она наступала мелкими шажками мольбы. Я ослабил руки. Тут же получил вторую оплеуху. Отвернулся.

– Ты прекрасно помнишь и пользуешься тем, что я никогда пальцем не трогал женщину.

Эрика заплакала. Надрывно. С ревом. С самоуничижением. С мольбами. С просьбами не покидать ее.

Кое-как собрались на работу. Припухшие веки выдавали ее состояние. Макияж не помогал. Оставалось уповать на холод улицы.

Мы расстались на площади. У подножия памятника русскому зодчему, выстроившему не одну крепость. Эрика вонзилась в

меня глазами. Щеки все еще горели ее ладонями. Ответить ей утвердительно кивком, обещанием будущей встречи не мог. Не имел права. Ломило все тело. В противовес внутреннему раздрагу светило солнце. Снежинки переливались голубым, золотистым, малиновым, фиолетовым. Провода, казалось, вот-вот лопнут от тяжести инея. Ресницы Эрики тоже заиндевели. Позавчера она стояла в сквере, похожая на замерзающую веточку. Позавчера. Я всматривался в нее с болью безвозвратности. Надо было расколоться. Навсегда.

– Может, выпьем? Прямо сейчас? – неожиданно спросила меня. Улыбнулась вымученно. Подавила вымученность. И улыбка не сделалась настоящей. Эрика указала на руку зодчего. Какой-то проказник воткнул в нее полуторалитровую бутылку из-под газировки. Создавалось впечатление, – бронзовый бодрач собирається произнести тост.

– Только не сейчас, – я улыбнулся в ответ. – На работу в нетрезвом состоянии ходить не принято. – И продолжил совсем неуверенно: – Звони, если что. Пока. – Зашагал в сторону другого парка. Сквозь холод. И сейчас – я знал – она смотрит в мою спину, ждет – обернись. Я давно отучил себя оборачиваться. Жить надо каждый день с чистого листа. Не стоит постоянно оглядываться. Важно постоянно помнить...

\* \* \*

Прошло несколько бесплодных месяцев. Они начинались с утра. Заканчивались в начале второго или третьего часа ночи – у видеоманитофона или с приятным собеседником – книгой. Потом я заболел.

Банальная простуда – штука скверная. Но неизбежная. Если уж настигла, остается одно – собраться с силами, залечь на диван, пить гекалитрами чай с малиновым вареньем, есть горстями отвратительную горечь аспирина, то и дело совать под мышку градусник и ждать результатов замера и снова вливать в себя жидкость. Единственный плюс, когда полусон-полубред уходит, уопание в Пушки-

на. Правда, отчего-то чаще хочется перечитывать прозу. И всегда – времени на обрез. А тут – простуда. Значит, несколько дней или целая неделя с ним – с Александром Сергеевичем, с его милым, добрым, спившимся станционным зрителем Выриным – «сущим мучеником четырнадцатого класса, огражденным чином своим токмо от побоев и то не всегда». Я засыпал под звук метели, врывающейся из девятнадцатого столетия в финальную «пульку» двадцатого, в его тихую весну, которую только коты почуяли, а почки еще и не думают набухать и распускаться. Именно тогда, в болезни, вспомнилась давняя поездка в Михайловское. В пристань, что скромно возвышается над речкой Сороть уже несколько веков. Места удивительные. Заповедные. Налет современности не сломал, не сумел задавить странное ощущение присутствия гения. Он – повсюду.

Автобус с туристами останавливается сначала в Пушкинских Горах, у стен Святогорского монастыря. Стайка потенциальных зевак выпархивает из «Икаруса» или потрепанного «Туриста» и замирает. У памятника поэту всегда живые цветы. Через дорогу – холм монастырский. Внизу – белая полоска стены с зеленым козырьком. Она окружает обитель. Вход – маленькая сторожка. Обычные киоски с культовой утварью и открытками, с видовыми открытками пушкинских мест. Наверх, к храму, выщербленные каменные ступени. Справа и слева от ступеней тоже беленые стены. Невысокие. На некрутых поворотах – столбы. Крестово-купольный храм. Белый. Северорусское зодчество. По всему холму «разбросаны» кресты. В основном – каменные. Здесь покоится прах святых людей монастыря. На небольшой площадке – две каменные плиты. Прадед и прабабушка Поэта. Обласканный арап Петра Великого, хоть и сын эфиопского князя, но все равно русский военный инженер, генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал. Буквы на плитах еле заметны. Даже камень подвластен времени. И листья дождем засыпают инициалы. Трепетная рука туриста освобождает



их из осеннего плена. Губы шепчут: «Абрам Петрович...» А в кованой оградке – небольшой постамент. На нем из белого мрамора скромный памятник. Словно кресты церковные на пустынном небе октября – золотом по белому: «Александр Сергеевич Пушкин». И все. А что душе русской надобно еще? Эти фамилия и имя в нас.

Недолгий путь к имени Михайловское. Стоянка авто у здания древнего, немного неуклюжего. Старая мельница. От нее начинается отсчет шагов к заветным белым скамьям и мостику через овражек к волшебным берегам той самой-самой речки. Кругом шумят сосны. Струнами тянутся к небу. Дорожка петляет. Взлетает над верхушками деревьев, устремляется вниз. Совершенно неожиданно обрывается. Меж двух огромнейших сосен – воротца. Они открыты всегда. В центре, перед домом Александра Сергеевича, кольцо деревьев. Самое древнее – в середине. Уверяют, оно помнит Поэта.

Направо – приземистая избушка. Так вот ты какой, домик арапа инженера-генерала! С тебя, небольшого, одноэтажного (двухэтажных строений в имении нет), но, видно, уютного изнутри, и начиналось все здесь. И сразу же хочется извиниться перед Абрамом Петровичем за табличку на его доме – знак нашего безумного времени: «Бумагу и окурки кладите в ящики и урны».

– В ваши времена, господин Ганнибал, такое писать не смели, никому бы и в голову не пришло, – горько ухмыляюсь в себя.

Напротив, слева от входа, банька. В глубине – домик разлюбезной нянюшки-сказительницы Арины Родионовны. В авангарде у забора – шутейная пушчонка. Их, этих пушек, было две. Одна где-то затерялась. (Снова хочется склонить голову перед предками. Прощения попросить за то, что у нас многое из прошлого теряют.) Из них палили по случаю приезда именитых гостей, приветствовали друзей.

...Дом Пушкина. Деревянное крыльцо в центре. Ступенчатая крыша. Внутри все велико. (То ли от малого роста хозяев зави-

сило, то ли по прихоти.) Прихожая, гостиная, комната с кроватью под тяжелой пологом. Здесь почивал Александр Сергеевич. Подле – стол с письменными приборами. Чтобы не бегать за мыслью, а писать в часы вдохновенные.

Повсюду довольно аскетичная, но уютная мебель. Только необходимое. Зато за окнами – простор! Полететь хочется. Воспарить. Жить здесь и не заниматься сочинительством грешно.

Чудо – постоять в замшелом лесу, взойти на белый мостик, который висит над вечностью, стать частицей этой вечности, вдохнуть здешней тишины и остаться тут навсегда душой, сердцем, памятью...

Болезнь. Банальность. Она постепенно проходит. Я уже не тянусь к чашке с обрыдлым чаем, к склянке с микстурой, к пакетику с таблетками, к сосулке градусника. Врач выставил штамп в голубом листке временной нетрудоспособности. Расписался. Сделал прочерк в том месте, где оговорены сроки продления. И я обреченно побрел в еще не полноценное серое утро. На работу. Перекладываю бумаги. Отвечаю на телефонные звонки. Звоню куда-то. Дожидаюсь вечера. Выхожу из кабинета, так заключенный из камеры выходит на прогулку, с осознанием того, что через несколько минут он опять окунется в стоячую воду, зажатую четырем стенами. Усталость наваливается еще больше. Издерганный, занимаюсь самопожиранием. Признаюсь в собственной бездарности и бесталанности себе самому. Настроение опускается до точки замерзания. Открываю дверь квартиры. Падаю на диван. В пальто. В шляпе. В ботинках. Выпускаю из руки кейс. Он грохается об пол. Через полчаса желудок «играет» марш: «Так и с голодухи можно...» Тянусь на кухню. Ставлю чайник. Наконец-то раздеваюсь. Напяливаю домашнюю одежду. Тапки. Все идет заведенным чередом.

К полуночи начинает чего-то не хватать. Тянусь к стеллажу. Почти на ощупь вытаскиваю. Заветный томик Пушкина. И хочу уютненько в нем. И тону. И снова стою в местеч-

ке N\*, а мимо шагает Сильвио с огромным дуэльным пистолетом в руке. Он встретится с Адрианом Прохоровым, гробовщиком. Герои мирно беседуют. И слышу:

«Ну, коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей», – радостно работнице бросает Адриан. Берет Сильвио под руку. Ведет в дом знакомить с дочерью.

Две недели улетучились. Испарились. Растворились. И засосало под ложечкой. Захотелось увидеть Эрику. Устроить все поновому. Без объяснений, без пощечин, без взаимной неприязни. Приходить в уютную хижину, где ждут прелесть какая женщина, скромный ужин, полумрак, где даже в промозглый декабрьский день тепло и сухо. Сердце забилось, зашло. Ретивое взывало.

Я позвонил. На работе не застал. Тогда поехал к ней. Помячал у подъезда. На кухне горел свет. Поднялся. Нажал кнопку звонка. За дверью послышалась механическая трель. Шаги обозначились шлепаньем домашних тапочек. Вопросительного «Кто там?» – не последовало. Щелкнул замок. Дверь скрипнула. Открылась на цепочку. Навстречу мне блеснули ее глаза, полные удивления.

– Входи, – шепнула. Распахнула пространство прихожей. Из распахнувшегося халата мелькнула грудь. Замок за спиной хлопнул. Обратной дороги не предполагалось.

Плащ – на вешалку. Я обнял Эрику. Она поддалась. Сквозь неразгаданность расставания, сквозь четырнадцатидневный зал неведения, сквозь пространство городской суеты. Она поддалась! Я обнял!

Из комнаты выглянул мальчишка. Следом его бабушка:

– Здравствуйте, Володенька, – обронила. Собралась с мыслями. – Эк вы изменились. Давно не видела. Давно.

– Меня зовут Коля. Вы – дядя Володя, – раскрепощенно подошел мальчик.

Я утвердительно кивнул. Он протянул руку. Теплая ладошка. Крошечная. Немного влажная. Я отвечал рукопожатием. Бабушка за-

суетилась. Принялась спешно собираться. Одевать мальчугана.

– Мама, что суетишься? Почему собираешь Коленьку? – вопрошала Эрика.

– Мы договорились сегодня ночевать у бабушки. Ты что, забыла? – удивленно спросил малыш. А радость скрыть он не сумел. – На один раз ведь. До завтра. – Зеленоватые глаза упрасивали. Губы, явно унаследованные от мамы, подрагивали. Перед нами, взрослыми, стоял сжатый пружинный комочек детских чувств, готовый разразиться потоком слез, ураганом неуправляемого крика. Его одели. Уже с порога он серьезно молвил: – Я видел вас на маминей фотографии. Только, дядя Володя, вы были школьниками тогда и сидели с мамой на огромной горе яблок. А меня еще на свете не было. Я еще не родился.

Эрика судорожно вздохнула.

– Пока, – бросил на ходу мальчик. – Вы приходите еще, ладно?

– Ладно, – ответил серьезным голосом, сам еще не веря в сказанное.

Дверь со скрипом затворилась. Пятно света с лестничной клетки поглотила чернота прихожей.

– Есть хочешь? – вопрос Эрики не казался странным.

– Обязательно. Иду прямо с работы. Голоден, как волк зимой. Того гляди – на глаза отошаю. Или тебя съем.

– Мама с Колей поужинали. Мне почему-то не хотелось. Сейчас в животе марши заиграли. С непременно барабанным боем. Поэтому ужинаем вместе.

Макароны зашипели на сковородке. В теплую массу Эрика бросила масло. На соседнюю горелку поставила вторую сковороду. С котлетами. Шипение усилилось. Вдвое. Третьим на огне очутился чайник. Красный с черной ручкой и свистком. (Вот уж что-то, а свистки на горловинах чайников не терплю с детства. Но не всегда мы поступаем так, как нам хочется, делаем, что желаем. Потому приходится поумерить свои привычки.) Телевизор с холодильника прекратил вещать очередной

зубодробительный сериал. Макароны с котлетами «созрели». Им суждено дымиться на тарелках. Чайник принялся подвывать и постанывать. Как только вилками мы звякнули по тарелкам, со стороны плиты пронзительный свист сообщил: «Или выключайте. Или соловья снимите. Дайте покипеть спокойно...» Не дали. Заварили чай прямо в чашках. И вернулись к пожиранию котлет с макаронами.

По телеку шли новости. Какого-то чудака спросили: «Скажите, а где вы были девятнадцатого августа тысяча девятьсот девяносто первого года?»

Чудак пожал плечами. Поморщился. Кажется, так и не вспомнил, но уверенно ляпнул: «Секс, вино, наркотики. Что еще?»

– А ты где была девятнадцатого августа вышеупомянутого года? – сквозь хитрую улыбку спросил Эрику.

– В столице нашей родины, – последовал спокойный ответ. Невозмутимость, с какой была произнесена фраза, поразила.

– Баррикады, танки и автоматы? – вспоминая чудака из телевизора, я снова иронично улыбнулся.

– До баррикад не доехали. В тот день приехали с Игорем в Москву. Издалека. Из уже оптавшего от Союза Бишкека.

– За фруктами ездили? – попытался состричь.

– Почти угадал. За удовольствием. Я уговорила мужа взять меня хоть один раз в горы. Он не только охотник заядлый, но и турист хоть куда, – замолчала. После паузы добавила: – Был. Мы разошлись, когда Коленьке годик исполнился. Мне надоели его вечные скитания по горам, по городам и весям, волнения и дерганья. Ему – мои домашние проблемы и упреки. Ведь он только ночевать приходил. Всё – дела. Уходил – я еще спала. Возвращался – я уже спала. Но это другое. Так вот. Мы приехали на Казанский сиротский вокзал. Но еще в Рязани пассажиры обнаружили – в поезде отключили радио. Газет нигде достать не удалось. Их, как оказалось позже, просто не существовало. В неве-

дении ринулись на Белорусский. Купить билеты домой. Повсюду – тишь. Утро. Асфальт блестит. Совсем недавно по нему прошли поливальные машины. Живо вспомнились старые фильмы, где Москву любили показывать утренней – в сиянии восходящего солнца. В фонтанах «поливало» резвилась всеми своими цветами радуга. Редкие прохожие улыбались новому дню. Клаксоны гудели празднично и призывно. Это было давно... А мы с Белорусского направились в центр, на Театральную. Друг Игоря в то время в издательстве «Планета» на сыщиками знаменитой Петровке (но не тридцать восемь) работал. Переводчиком. Знание пяти языков в совершенстве его никогда не тяготило. У «Большого» – танки и бронетранспортеры. По броне детвора лазает. Солдатики и офицеры курят. Тоже на броне. Блаженство. Мы подумали – парад репетировать приехали.

Входная дверь в издательство заперта. Ближайший автомат у Пассажа. Через дорогу. Звоним. Подходит нетерпеливый человек в кепке-аэродроме. Переминается с ноги на ногу. Загнанно дышит.

– Саши не будет? Странно, сегодня ведь рабочий день. Вроде, – недоуменно Игорь вешает трубку. Человек влетает в автомат. Накручивает диск и в это же время:

– Какая работа, дорогие? Вы что, с гор спустились, что ли? – сквозь смоляные усы огорошивает нас. С места тронуться нет сил. Человек кричит в трубку:

– Мама! У вас ни стриляют? Что? У нас? Тоже пака нет! Абищают танки. Ждем. Ни валнуйся, все нармально! Абнимаю! – с характерным акцентом заканчивает. Игорю бросает:

– Ну пачему смотришь, а? В стране гражданская вайна, а они ни знают, – повторяет вопрос: – Вы что, с гор спустились?

– Утром, – ответил Игорь.

– Что утром? Спустился с гор?

– Да. Только что приехали и ничего не знаем. На Тянь-Шане в походе были, – оправдываюсь за мужа.

Человек крутит пальцем у виска. Разворачивается. Растворяется в московских переулках.

У ЦУМа происходит движение. Небольшая толпа увеличивается, растет на глазах. Взлетает голубем пачка листовок. Листки не успевают лечь на землю. Их подхватывают. Рвут из рук. Из воздуха. Игорь врзается в толпу. Вытекает из толчеи озаренный, полусчастливым. На ходу хватает, срывает фразы с бумаги: «Обращение Президента Российской Федерации к народу...»

Нам повезло. Таскаться по Красной площади не пришлось. Спокойно, даже чересчур, позволили метрополитену заглотить наши тела. Он деловито выплюнул их на Белорусской. Стены вокзала показались родными. На улице перекусили какими-то безвкусными пончиками. Хлебнули газировки. В камере хранения забрали рюкзаки. Дебелый дядька-приемщик со всхлипом приподнимал их. И пристально на меня поглядывал. Как будто оценивал мою «грузоподъемность». Так ведь ноша своя, не тянет. За два с лишним часа сидения на вокзале нам показалось, что мягкие «места» наши просто одеревенели. От газировки, кофе и чая животы превратились в бурдюки. До вагона еле дотащились. Вынули спальные мешки. Застелили вагонные полки, мгновенно уснули. Очнулись от сна на долгой стоянке. Протерли глаза. Родной вокзал! Проводница забыла разбудить. Благо, сборы недолги – мешки под клапан, рюкзаки на плечи, и... поезд дернуло. Он медленно пополз. Мы выпрыгивали на ходу – уже под переходным мостом.

Город жил размеренной провинциальной летней пустотой. И никакие катаклизмы, казалось, на него не влияли. Знакомые просто терзали прямо на улице: «Где были вчера? Что делали?». А когда узнавали, что приехали из Москвы, шалели. Замирали. Умолкали. И взрывались:

– Ну и как там?

– Нормально. Танки. Люди. Листовки. У телефонов-автоматов очереди. Как у испанского художника – мягкое все, текущее, рас-

плавленное. Баррикады? Конечно, посетили, – залихватски врал Игорь. Верили. Он пукался в галоп. – Видели всю элиту. Что? Да, даже руки пожимали. Месяц не буду мыть. Или всю жизнь. – Никто не воспринимал его иронии. Все верили безоглядно. Даже завидовали. Пугались и бежали к соседям, чтобы напугать их, в свою очередь. Заодно – расказать, что приятель вчера на баррикадах столичных сражался. За будущее народа. Простой провинциальный обыватель влез на баррикаду! Мы стали сенсацией. Казалось – в нашу квартиру въехали эстрадные звезды, а все соседи жаждут их (то есть нас) лицезреть.

Худшим получилось другое. В порыве врак Игорь даже маме своей стал расписывать свое героическое участие в сооружении заграждений поперек улиц. Свекровь чуть было не хватил удар! Она рухнула от такого известия прямо в прихожей. Благо – на табуретку. Задохнулась. Жестами попросила воды и чего-нибудь сердечного. Кроме воды, ничего не оказалось. Игорь полетел к соседям – спросить хотя бы валидола. Когда вернулся, мама пришла в себя. Могла говорить и ругаться. Более того, в гневе она отхлестала сына авоськой, словно его детство не кончилось. Правда, потом все вместе заливались хохотом.

– Ладно уж, хулиганье, накрывайте на стол. Надо же отметить возвращение блудных детей. – Она вынимала из сумки банки с соленьями, пакеты со снедью. – У вас сейчас холодильник пуст. А без праздника никак нельзя.

– Так что, милый Володечка, девятнадцатого августа я посетила Москву с ее танками, неразберихой, страхом, а двадцатого вечером пила водку в компании мужа и свекрови. Уже – дома.

Грустно стало. То ли от упоминаний о муже и свекрови. То ли от жизни, от ее безысходности.

Грянули очередные выходные. Я называю про себя их «Днями выхода в люди». Взвасьшись за руки, мы отправились в наш роди-

мый ЦПКИО. Ряженый тракторок тащил две тележки. Точнее – два «вагончика» с детшками и их родителями. Визг. Радость. Дикое удовольствие, сравнимое лишь с нашедшей банановые заросли стайей обезьян. Колесо обзора облепили солдаты. Знакомятся с городом. Законные увольнительные в карманах. Ни один патруль не придерется. Сегодня у них перерыв между подъемами, отбоями, строевыми, тактическими, политическими, между кроссами в противогазах при полной выкладке. Долбеж ключом передачи на сегодня тоже забыт. Но кошмаром мне вспоминается морзянка с завязанными глазами. При выключенном свете. За каждую ошибку – бегом вокруг казармы. В сапогах. А другой обуви в армии нет.

Эрика уловила мой погрустневший взгляд. Налетевшую задумчивость.

– У тебя случилось что-то во время службы? Больное? Незабываемое? – порхнули вопросы.

– Жуткое, – выдавил больше для себя...

Служить случилось недолго. После окончания института долго отбывают «срок» на офицерском пайке. Рядовой – звание более почетное. Опять же – погоны, как и совесть, остаются чистыми. Пришлось выучить морзянку. Однако не это помнится. Полтора года скользнули как по маслу. Унижения? Терпеть не пришлось даже в первое время. Я ведь старше многих оказался. Им восемнадцать-девятнадцать, мне почти двадцать три. Попытались «дедушки» поначалу «душить». Не дался. Но случай один мучает.

Зашел в галюн. Ночью. Там «деды» обступили живым кольцом, с колышущимся кулаками и ногами, новобранца. И это в ротном нужнике! Днем раньше ефрейтор (их в армии «собаками» называют. Потому что – не младший командир еще и не солдат уже. Вот и срывает злобу на рядовых.) «застукал» мальчишку за неллицеприятным занятием: закатив глаза и прерывисто дыша, тот попытался представить себе, возможно, – трепетную белизну кожи невесты, что осталась

на граданке, ее розовую плоть, спрятанную под мшистым бугорком внизу живота. Когда свежестриженный пацан охнул и судорожно начал хватать ртом воздух, переполненный запахом солдатских портянок, хлорки, ваксы, за спиной взорвался ефрейторский рык.

Для начала приказал мальцу вычистить все углы зубной щеткой. В казармах многое чистится этим предметом туалета. За тем – подшить, и подшивать до окончания ефрейтором службы, подворотничок, отгладить форму, надраить сапоги.

Новобранец отказался.

Ефрейтор стал бить его. А на следующую ночь я случайно зашел в нужник. Картина та до сих пор стоит перед глазами: Рядовой. Лысый. Лопухий бесправный мальчик. Разбитыми кистями пытается закрыть лицо. Голова покрыта кровавым густком. Из рубцов, появившихся после ударов сапог, сочится кровь. Сквозь пальцы – кровь из носа. Жалкий окровавленный комок корчится на кафеле туалета в луже собственной крови. С садистским наслаждением сержанты и ефрейторы машут и машут окровавленными кулаками и подкованными, заляпанными кровью сапогами.

– Что вы делаете? Убьете ведь мальчишку! – заорал я с порога.

Крик остановил экзекуцию. Рассудительно, переведя дыхание, ефрейтор процедил:

– Не лез бы на рожон, Вов, – и тут же расказал о солдатской «провинности». Исполнители «приговора» очнулись. Закурили. Руки у всех подрагивали. После первых же затяжек побросали сигареты на пол, потянулись в спальни. Кто-то успел бросить по ходу:

– Повезло тебе, сопляк. Живи...

Комочек зашевелился. Встал на четвереньки. Сжал голову разбитыми кистями. Сморщился от боли:

– Спасибо, – выдавил. На четырех точках добрал до умывальника. В раковину потекло алое.

Кафель вокруг в пятнах и потеках. На пороге – ряд заляпанных его кровью сапог. «Молодой» должен вымыть их и почистить. Иначе

экскеция повторится. Новобранец плочет в сторону сапог. Берет тряпку. Вымывает пол. Отжимает. Устраивает тряпку на батарее. Мимо меня уходит в темноту спальни. Влезает тихо на свой второй ярус.

Лейтенант утром не выясняет ничего. Только гримаса на его лице выдает недовольство. Однако офицер знает, что без этих «ЧП» – никуда. Так надо. И отправляет парня в санчасть.

Остальные солдатушек – бравы ребятушки молчат. Те, которые придут им на смену, будут так же молча сносить побои младших командиров, их издевательства. Так было, есть и так будет всегда. Жестоко, цинично, зверски. Говорят, чаще человеку плохое из его жизни помнится. Смотри с какой стороны посмотреть. Вот, к примеру, ждали в полку проверяющего из штаба. На футбольном поле уже вовсю цвели одуванчики. Трава – по щиколотку. Мяч никто не гоняет. Сил нет. Вместо того чтобы скосить зеленку, наш взвод отправили обрывать желтые головки цветов. Смешно? Наверное. Или мытье с мылом асфальта от КПП к казармам. Таких примеров – масса.

Несколько раз наш сержант, девятнадцатилетний орел, строил взвод под дождем. Командовал: «Приготовиться к бегу!» Мы сгибали руки в локтях. После команды «Бегом марш!» медленно начинали втягиваться в ритм. Никто не спрашивает, хочешь ли бежать. Надо. Километра через три он командует: «Стой!» – и гусиным шагом заставляет семенить по грязи. Под дождем. Кто-нибудь отставал. Падал. Все, сидя на корточках, как зеки во время выгрузки из вагонов, обязаны ждать.

Однажды музыканты в клубе полковом засились. Репетировали. К празднику что-то. Заодно решили и отметить. Купили спиртное заранее. Запаслись закуской. Вечерело. Достали. Расставили кружки. Постелили газету. Откупорили. В дверь постучались. Условным стуком. Отворили. На пороге – дежурный по полку. Майор. На столе – выпивка. Немая пауза. Ребята испугались жутко. Представи-

ли мысленно гауптвахту. Дежурный прогромыхал к «столу». Налил два стакана. Хрюкнул. Опрокинул, не глотая, один. Следом – второй. Занюхал рукавом. На кусок хлеба положил кильку. Так никто ничего не понял. И никто из офицеров ничего не узнал. А ребята тряслись. Ерунда все это. Служба. Видимость службы. Это теперь страшно. А в наше время – фигня. Вспомнилось. Выплыло. «Это ей ни к чему знать», – подумалось.

Зашли в «стекляшку». На Блонье. Блины со сметаной. Пиво. Кругом, судя по разговорам, газетчики осушали сто, сто пятьдесят, двести пятьдесят. Почти не закусывали. Говорили громко. Что-то о политике. О культуре. Задерживаться нам не хотелось. Из автомата у кафе позвонили маме Эрики. Двинулись ко мне. Завтра – на работу.

...Солнце кольнуло в глаза. Сквозь штору пробрался непоседливый луч. Нахулиганил. Разбудил. От него отворачиваться не хотелось – пригревал. Почудилось – ничего лучшего нет, чем лежать в постели с любимой(?) с детства женщиной и никуда не торопиться. Увы, спешить надо было. Осторожно вытащил руку из-под головы Эрики. Она девчоночьи почмокала губами. Обняла место, где только что лежал я. Пошарила пальцами. Сжала простыню. Вспорхнула с дивана. Поймала мою улыбку. Блаженно потянулась. Откинулась на подушку. Зевнула.

– У нас есть еще время? – Я кивнул. – Тогда давай, ты приготовишь завтрак, – сощурилась. Я снова кивнул в щелочки ее глаз. – Пару минут подремлю еще. Можно?

Часы показали семь пятьдесят восемь. Стоя у газовой плиты, я вдруг понял: «Это когда-то кончится... Когда? Если бы знать...»

Захотелось забыть название города, в котором мы встретились и живем. Забыть паутину улиц, лабиринты оврагов. Забыть день, ночь, забыть воду в реке и перестук трамваев, шины авто по асфальту и стэп поездов на стыках; забыть ветер и дождь; забыть имена, тела, руки; забыть прошлое и будущее; забыть, как пишутся буквы и обнаружить си-

ревный снег под старым карликом, имени которого никто не помнит, и себя – на берегу залива. Нет, не залива. Он раньше так назывался. На кромке встречи океана с сушей. Пойти по ней под аккомпанемент горластых чаек (или – как там теперь они называются?) туда, где встречаются суша, вода, небо. И прийти однажды. И увидеть тонкую линию, нить, на которой держатся эти стихии. Обнаружить, что порвать ее запросто. И следов на песке много. Видно – приходили Обрыватели и ушли ни с чем. Не смогли разрушить не ими созданное. Не справились. Океан надвигается на сушу, отодвигается и снова – назад. Как детские качели. А множество следов не смываются. Остаются вмятинами в песке. Или – в гипсе? Они пропадают только тогда, когда обладатели их умирают. На две вмятины становится меньше. Когда-нибудь их не будет вовсе. Значит, люди не захотят приходиться к тонкой нити. Романтики вымрут. Лириков замучает психоз. Физики уйдут с головой в науку. Им будет наплевать на все. И все-таки мир не обретет равновесия. Кому-нибудь опять захочется после бутылки вечернего пива отправиться туда, где можно забыть название города, в котором они встретились и живут, забыть паутину улиц и собственное имя. И кто-то снова придет сюда, влекомый жадной поиска истины. Сюда, где на песке ко времени его прихода не останется ни одного следа. Но он этот след оставит и, как предки, не тронет нити жизни. Но расскажет всем о ее существовании. И кто-то поверит. И «прорежутся» на кромке океана и суши новые лирики, романтики, физики. И будет так.

Почему мне захотелось забыть все? Почему?

\* \* \*

Я очнулся в центре ночи. Очнулся от того, что понял: занимаюсь самообманом, уговариваю себя, уповаю на дружное, теплое семейное будущее. На «очаг», который, возможно, образуется, и под ним вспыхнет огонь настоящей любви; в доме на плите будут вариться душистые щи...

Я очнулся от тоски. Безвыходности. Безысходности. Разве можно прожить две счастливые жизни? Все нежное осталось в прошлом. Умерло. Воздух впитал серость мыслей и чувств, серая луна окунулась в серое море, по улицам поползли серые тени, а фигуры поздних прохожих не отбрасывают теней. Страна тоски...

Негнже я выбрался на кухню. Поставил чайник. Вернулся. В темноте комнаты на ощупь отыскал шорты.

Ночной чай. Крупнолистовой «Липтон». Когда в нем плавают долька лимона. Вокруг – тишина. Идеальное одиночество. Недолгое. Может быть, мнимое. Но – приятное. Даже курить захотелось. И варенье достать. Последнее показалось более приятным. Клубничное. С цельными ягодами. Его называют «пятиминуткой». Я не дока в приготовлении пищи, и все же, думаю, ягоды варят при подобном раскладе не больше пяти минут. Темно-красная сладкая влага. Она напомнила мою детскую кофточку. Правда, та алая была, с кармашком. На нем – синий паровоз с громадной трубой. С кружочками колес. Мне – три года от роду. Отличительная особенность того времени – моя любовь к ненормативной лексике.

Бабушка приводила меня из детского сада. Дома я невозмутимо садился на пол посередине комнаты и нес все, что где-нибудь слышал. А слышал довольно много. На улице мужики играли в карты, забывали в домино «козла». Родители по поводу моих лексических «изысков» нервничали. Ругали за мат. Пороть даже пробовали. Я продолжал «упражняться» непрерывно. Однажды они перестали обращать внимание на словесные экзерсисы. Мне надоело их пренебрежение. Пришлось опробовать словечки на воспитательнице. За это меня примерно наказали... родители.

В кружке лишь мокрые размякшие листья. Расправившиеся. Словно развалившиеся в кресле ленивые люди. Кружок лимона. Его

забрисил в рот. Кислота еще оставалась. Скулы слегка свело. Приятно. А внутри все жгла неудовлетворенность собой.

Она ведь мучается со мной. Я – с ней. Коленька? Какой я ему отчим? И потом, кому нужна моя усредненность во всем? Кто сегодня, во времена детективов, политических страстей, многопартийной вакханалии, станет обращать внимание на ненормального, которому по душе Пушкин и Набоков? Программа новостей смотрится хлестче триллера, а газетные публикации пестрят сплошь такими историями, что сердце заходится. Для меня, в лучшем случае, вызовут шестую бригаду «Скорой помощи». Сделают укол. Или напялят смирительную рубашку. С ходу. Без примерки. И увезут. И там, в серых стенах «шестой» палаты, со временем я стану Наполеоном Бонапартом, или бравым солдатом Швейком, или, того гляди, – вождем революционного движения. Или контрреволюционного...

От чая остались приятные ощущения. Жаль, они не могли уничтожить внутреннюю тревогу. Она не хотела уходить. Наоборот – нарастала. Надежно брала за глотку. Нужно было плюхаться в кровать. Искать сон. Но долго бегать за ним не пришлось. Сон пришел сразу.

Огромная, коек на двадцать, палата. Железные кровати застелены солдатскими одеялами. С полосками в ногах. Края «отбиты», как полагаются в казарме. Бледный свет. Время, кажется, ближе к вечеру. Или – начало дня? Непонятно. Вокруг никого. Только муха прожужжала. Стукнулась о плафон. Круглый. Белый. Матовый. Я сижу на ближней к стене кровати. В застиранном халате. Откуда-то я знаю, что он раньше был синим. Пояс завязан на узел. Под халатом – тельняшка. Больничные штаны. Домашние тапки – черные с зеленой полосой. Голова острижена. Наголо. Входит человек в таком же халате. Вернее – медленно вступает в проход между кроватями. Точнее – wpłyвает. Медленно палата заполняется. Больные (?) возникают

из ниоткуда. Как в кино, при помощи стоп-кадра. Монтаж. И на пустом месте – нечто или некто. Словно фотография в кювете, «проявляются» доктора в белом, посетители в разномастных одеждах. Никто из них не напялил халата.

«Хорошо хоть не инфекционка, – мелькает в голове, – не то отлежишь положенный по «уставу» двадцать один день, попутно «подхватишь» еще что-то, и так до бесконечности».

Рядом сидит мама. Усталая. Измученная. Круги под глазами. Морщины новые появились. Возле губ. У глаз. Она принесла пакет со съестным. Есть не хочется. Клонит в сон. Мама говорит. Ничего не слышу. Палата наполняется говором, шорохами, шлепаньем тапок по линолеуму. Подходит небритый. Садится на то место, где только что была мама. Важно засовывает пальцы правой руки за отворот халата. Приподнимает бровь. Всматривается. Изрекает:

– Служить ко мне пойдете, рядовой гражданин?

– Куда это – к вам?

– Неужто не узнаете? – он наклоняет голову. Два подбородка. Толстые губы. – Неужто не узнаете?

Я отрицаю факт знакомства. Он встает. Выпячивает то место, где должен расти живот. Надменно произносит: – Я же Наполеон Бонапарт!

До меня доходит жуть происходящего. Струи пота стекают по лбу, на кончике носа повисает капля. Судорожно глотаю воздух.

Открываю глаза.

Счастье! В дверном проеме светится фигура Эрики.

Никакого длинного ряда коек.

Прохода между ними.

Людей в халатах.

Наполеона.

Сталкиваюсь с вопросительным взглядом.

– Такое приснилось, – слгатываю слюну. – Лучше когда-нибудь потом расскажу. А какой сегодня день?



– Пятница. Имей в виду, – сны под пятницу сбываются.

Становится жутко.

Холодная вода душа встряхивает. Сон не торопится уходить.

Хватаю «Сонник», над толкованиями которого всегда посмеивался. Ищу нужную страницу. «Увидеть во сне психиатрическую больницу – предвещает Вам большое душевное напряжение, с которым Вы будете преодолевать трудности».

– Хотелось бы преодолеть, – шепчу без веры в лондонское издание 1931 года. На дворе – конец века.

Приходит озарением вопрос:

– Кем же тогда я был в сегодняшнем сне?

\* \* \*

Чашка содрогнулась. Испустила легкий вздох. Треснула. Рассыпалась в порошок. Так жемчуг, отслужив свой век, рассыпается нежданно-неожиданно. Я бы сказал – невозможно, нереально, бред. Кто-то, более сведущий в сопротивлении материалов, со знанием дела выведет: «Ничего удивительного. Усталость. Усталость материала на молекулярном уровне». Внутри во мне напряглось что-то и лопнуло. И абсолютно не больно. Даже – ожидаемо. Странный сон замер во вчерашней ночи. Сегодня опять не спалось. И снова чайник ликовал на плите. И клубничины будто подмигивали из-за стеклянных боков банки. И «Липтон» распарился в кружке, на которой нарисованы принц и принцесса. Они, утонченные, порождены умелой рукой художника. Прямо под ними на ленточке имя и фамилия сказочника: «Ганс Христиан Андерсен». А внутри – ароматная влажная. А впереди – целая ночь. Темная, заполненная одиночеством, шепотом неоновой лампы на стене, шорохом тараканьих ног во время их забегов, мышшиной возней под полом. С батона стекает варенье. Капает на ладонь. Переливается на пальцах. Доедаю хлеб. Облизываю руки. Смываю липкость. Возвращаюсь в спальню.

Никак не спится.

Ласково бужу Эрику. Она бормочет сквозоз сон что-то ласковое. Все вроде хорошо. Недостает только самого важного, самого главного. Уже сознательно, хладнокровно довожу дело до финала. До взрыва. Эрика не просыпается. Долго лежу. Потом поднимаюсь с постели.

Тьма за окном стала плотнее. Я обращаюсь в вора. Собираю пожитки. Их не так много. Только то, что на мне. Выбираюсь на кухню. «Эрика! Прости. Все сложилось совершенно не так, как хотелось бы. Но мир не должен рухнуть. Не имею права причинять тебе боль. Так вышло. Приходится. Обнимаю. Вовка».

Чего можно добиться объяснениями? Слишком уж похожи они на оправдания. Записку смял. Бросил в мусорное ведро. Повернулся уйти. Резко бросился к мусору. Рыться пришлось недолго. Бумажка белела сбоку. Я сунул ее в карман.

– Глупо, – шепнул и закрыл за собой дверь. Ключи опустил в почтовый ящик.

Ночь. В подъезде свет не горит. На улицах – фонари, призывные огни круглослучных ларьков; оранжевые и красные полосы оставляют подфарники машин; весел лишь зеленый огонек такси, кричащий насмешливо: «Свободен!» На проспекте у Дома быта небольшое кафе под открытым небом. Устраиваюсь поудобнее. Долго пью пиво. Наслаждаюсь пустотой улицы, незаполненностью площадки с пластиковыми стульями. Позевываю и снова пиво заказываю. Подсаживается девица. Просит угостить. Ей мало выпитого, недостаточно приключений. Да и заработать, вероятно, захотела. Но я не становлюсь ее приключением. Наши желания и настроения не совпадают. Она находится на вершине синусоиды расслабления, на вершине жажды денег, я где-то посередине, на нисходящей линии. Осознание, что никто дома меня не ждет, сдерживало во временном отрезке второй половины ночи. Невозмутимо приближалось утро. Прохлада начала заполнять под рубаху.

В двух кварталах от дома нырнул во двор. Так короче. «Срезал» приличный угол, вышел на тротуар напротив подворотни огромного дома сталинской поры. Этот проход позволяет сделать еще одну «срезку». По улице, рыча дырявым глушителем своего авто, промчался некий ненормальный. Утро рычало вместе с красным спортивным «Фордом». У обочины металась болонка. С ошейником и даже какой-то медалькой на нем. Мотор взревел сильнее. Я успел отскочить. Но тот, который в машине, двинул в сторону пса. Раздался стук. Глухой. Крохотное тельце собачонки отлетело на газон. Под тополя. Болонка крутнулась несколько раз. Вытянулась. Затихла. Машина испарилась намного раньше. Подумалось – хуже, чем цинично. Специально сбить беззащитную тварь и умчаться, похотывая, с девицами, дымя сигаретой под взрывы и стоны металлического рока. Подошел к неподвижному тельцу. Склонился. Хотел взять на руки. Бесполезно. Помочь собачонке не смог бы даже гениальнейший ветеринар-травматолог.

Из подворотни вылетела хозяйка болонки с криком:

– Пупсик! Пупсик! Ты где? Иди ко мне! – в руке она держала теперь уже ненужный поводок. Женщина, хотя о возрасте дам говорить не принято, лет пятидесяти пяти, с седой головой, в легкой полноте. Спортивный костюм под плащом. На ногах – российский «Адидас». Женщина чуть не свалилась. Обморок прошмыгнул рядом. Она собралась с силами:

– Давно? – обратилась ко мне.

– Только что, минут пять, может, семь. Одно хорошо, не мучилась долго. Умерла практически сразу.

Осиротевшая хозяйка всплакнула. Подняла трупик друга. Прижала к груди. Светлый плащ моментально испачкался. По подворотне разнесся шепот шагов. Женщина исчезла вместе с псом.

– Я его похороню. По-доброму, – прилетело ко мне от того края, где начиналось про-

странство двора. Точнее, его предутренняя синева.

\* \* \*

И почему-то вспомнился художник. Вечером он, видимо, сидит на своем вечном диване в студии под музыку еще более вечного Моцарта. Из окна лишь один вид радует. Иногда он меняется. Точнее, меняется ежесекундно. Этот вид – небо. Остальное, – прямоугольные глыбы стен. Правильные до рвоты углы. Скучные ряды окон. Неудивительные силуэты крыш. Стены – розовые, серые. Снова розовые или серые. Урбанизм. Моцарт в урбанистической фантазии мало кому нужен. Скорее нет, чем да. Будто бояться все, что его творения разрушат бетон, расколют стекло, искорежат пластик. Чудится, что музыка находится в центре квадратов кварталов, параллелей и перпендикуляров улиц. Она звучит в центре обмана. Вольфганг Амадеевич. Он находится в центре наживы. И даже не догадывается – сколько стоит дружба в современном мире. А цены измеряются большими «бабками». Вражда стоит намного меньше. Жизнь или смерть? В зависимости от желания заказчика и способа осуществления операции. На все один взгляд. Один вздор.

Художник сидит на зеленом диване. Насилует себя мыслью: «Так ли необходимы его полотна людям, которые существуют в этом городе?» Его отталкивают. Пытаются раздавить, растоптать. Смять. Художник устал удивляться несправедливости. Торжеству бездарности. Лжи. Ничто не удивляет его вовсе. Ничто и никто. Даже голый зад на первой полосе газеты не удивляет.

Как-то, помнится, забежал к нему. Без предупреждения. Он сидел с яркогубой, крашеной, довольно мощной девицей. Я понял – не вовремя. Надо извиниться и ретироваться. Не позволили. Предложили водки. Отказался. Также отказался от сала и яичницы. Был сыт.

– Тогда чай или кофе, – настойчиво «надавил» художник.

Пришлось ненадолго задержаться. Познакомиться с Ульяной. Так художник представил свою гостью. Невольно приглядеться к ее глазам – томным и пугающе пустым. Выпить кофе с сушкой. Выслушать историю Ули. (Мне нравится традиция давать новорожденным детям в конце двадцатого столетия русские имена или имена просто старые, кажется, устаревшие. Но так ласково звучат они). Посмотреть, как она осушает рюмку. Другую. Почти не закусывает. Курит. Много курит.

Ульяна Хлобыстинова – начинающий режиссер. Приехала в наш город ставить дипломный спектакль. Только вот не пришлось по душе руководству театра. Актеры повели себя вообще – странно! Они, вместо того чтобы помочь девушке, бойкотировали ее потуги. Поэтому начальство сочло за благо удалить начинающего режиссера с приговором, раскрывающим собственную профессиональную несостоятельность. Художник бушевал:

– Вы понимаете, имя театра держится только на прошлых заслугах. Сегодня театра нет! Это пристанище администраторов! Отвратительных администраторов! – жестикулировал возмущенно. Утешал Ульяну, как только мог, советовал не отчаиваться. Послать подальше недругов и недоброжелателей. Собрать волю. Нарабатывать свою репутацию. Уля осушала рюмку и снова просила водки. Приятель наливал. Я оставался сожалющим, совершенно безучастным наблюдателем. Творческие споры для меня, вовсе не театрала, всегда казались игрой козы на расстроенном баяне. Лишь изредка приходило просветление. И я все понимал, чувствовал, ощущал дыхание душ спорщиков. И становилось хорошо.

Вторая чашка кофе опустела. Остатки двух сушек болтались в желудке. В висках слегка покалывало. Голова наливалась болью. Постепенно. Поступательно.

– У меня все неправильно, – сетовала Ульяна. – Мама – режиссер. Естественно, она отговаривала от поступления в театральный. Тем более – на режиссерский факуль-

тет. Расписывала «прелести» профессии, о которых я раньше не догадывалась. Но никогда меня не покидала уверенность, что рождена я для радости других. Для счастья пришла в этот мир! – голос подрагивал. Уля сдерживалась, чтобы не разреветься. – Поступила в институт на курс очень известного мастера. Через год он умер. Его преемник скончался через три месяца. Теперешнему педагогу мы не нужны! Отмахивается: «Делай, как знаешь...» Я хотела поставить сказку для взрослых. Мою заявку заметили и после театрального фестиваля позвонили именно из вашего театра! Предложили ставить спектакль именно у вас, на базе драматического, да еще – государственного театра! Впереди маячила синяя корочка диплома. Будущее. А на поверку вышло... Я здесь нужна как зайцу стоп-сигнал? Все сроки нарушаются. Денег не платят. Только обещают. После обещаний, не дав поработать, признают в профнепригодности?! Не вижу выхода! – не выдержала, всхлипнула и... замолчала.

– Как сказал барон Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен: «Безвыходных положений не бывает!» – я встрял беспардонно. Никто не удивился.

– Сегодня в Питер умчалась подруга. Навестить приезжала, узнать, как дела движутся. А когда узнала про фиаско, стала уговаривать вернуться. Прямо сейчас собрать вещи и ехать! Ну как я приеду домой без дипломного спектакля?

– Уезжать – ни в коем случае! – Художник макал сушку в чай. Откусывал. Делал глоток. Внимательно слушал. Вставлял нужное, по его мнению, в монолог Ульяны: – По-моему, лучше быть белой вороной, биться лбом в стену неприятия, непонимания, неприязни, чем ходить на посылках у сильных мира сего. Надо летать над суетой и не уподобляться людям с их вечной спешкой. Они, как бы ни торопились, все равно всегда опаздывают. Лучше всегда находиться в небе. Да, мы привыкли жить бедно, но гордо, привыкли не просить позволения делать то, что сочтем необходимым! Привыкли! Надо запомнить:

самим о себе необходимо заботиться! Не просить милости. Не обивать пороги. Работать и делать себя. Времена меняются. У вас другие запросы, проблемы. Иная жажда. Вы живете в своем, отличном от нашего мире. Вам выдан ваш карт-бланш и им стоит воспользоваться! Главное – найти и почувствовать его!

Я начал уставать. Дремота наваливалась на плечи. Избыток кофе в организме тоже плохо. Как и недостаток.

Теперь художник сидит на диване. Слушает вечного Моцарта. Гения. Гуляку. Ловеласа. Такое мнение, по крайней мере, бытует в народе. Всем кажется, что создавать произведения в области искусства не тяжело. Я набрался сил. Сказал об этом. Уля вздохнула. По щеке сползла слезинка.

– Тяжко! Да еще как тяжело! – художник опрокинул рюмку в себя резким движением.

Уйти так и не удалось. Во-первых, спешить некуда. Во-вторых, никто меня не ждал. В-третьих, шляться по ночным площадям в поисках приключений не хотелось. В-четвертых, в-пятых... Пунктов много, а я один. Опять же – хорошо мы сидели. Я согласился на водку. Попозже – на яичницу. Ломтики сала, само-собой, сдабривались горчицей и отправлялись в рот. Вроде сами запрыгивали.

Очнулся в комнате начинающей режиссерши. Встал с тахты. «Палуба» заходила ходуном. Баллов шесть-семь, не меньше. Сквозь утренние сумерки и наступающую дурноту разглядел комнату.

На стене – шторы-французы. В скором времени они должны рассыпаться. От ветхости. Поверх них – картина неизвестного живописца. На ней – баркасы в бухте, пасмурный день занавешен облаками, далекие сопки отделены тяжелой водой, на сходящих замерли рыбаки, недалеко поселок, и сети на кольях опутывают пространство вокруг жилья.

В углу комнаты – несколько иконок. Недорогих, но, по-видимому, важных для ре-

жиссераши. Остальные стены – в афишах и плакатах давно умерших спектаклей. Своеобразная летопись. Или склеп. Или братская могила.

Двухконфорочная газовая плита в небольшом темном закутке. Над ней сушка с несколькими тарелками; под столом, на котором плита и зиждется, баллон красного цвета с белой надписью на русском языке: «Газ». Мусорное ведро тут же. Пустое. Битое по бокам не одним поколением театральных деятелей.

Надо отметить, что в комнате привлекает внимание больше всего мебель. Вернее – стол и два стула. Деревянные, сделанные без единого гвоздя, они походили на остатки королевского гарнитура, который пропил его наследный принц.

Я вернулся по шаткому полу. Упал под мышку грудастой режиссерше. От нее повеяло огнем страсти и водочным перегаром. Первое успокоило. Второе... Говорят, целовать курящую женщину равносильно тому, что вылизать пепельницу. Тот, кто обронил сравнение сие, не учел сегодняшней, процентов на восемьдесят курящей слабой половины человечества. До времени эмансипации, похоже, он не дожил. Да, так вот, если от женщины несет перегаром? Даже если и после совместной пеньки? Начало моих размышлений прервали.

Без подобающего данному моменту интимности стука дверь приоткрылась. Она оказалась незапертой. Я спрятался под одеяло. Ульяна не реагировала. Спала. Мертвецким сном. В проеме показалось мятое лицо художника. Не говоря ни слова, он вошел. Улыбка заканчивалась на затылке. Даже уши улыбались:

– Вот повезло, что ты вчера зашел, – зашептал, войдя, художник, – я уж не знал, как с ней поступить. Вроде – надо бы поискать счастья. Не всю жизнь бобылем терпеть. И вместе с тем выступление в качестве старшего товарища, к которому пришли за советом, не позволяло перешагнуть рубеж официоза. Что характерно. – Он улыбнулся. С прищу-

ром. С хитростью в бороде: – Поделишься ощущениями?

– Ты что, старик, очумел? – большего сказать не нашелся.

– А что, даже Пушкин делился с Натальей Николаевной, женой своей любезной, своими любовными похождениями.

– Только ведь ты не Наталья Николаевна, а я – не Пушкин, – из меня поперла злость. Я вспомнил книгу одной дамы о Наталье Николаевне. О ее кротости. Терпеливости. Муках и страданиях. И дама эта была, кажется, ее дочь. Но нужно было ответить художнику. – Так что делиться нечем. Да и незачем, – я красноречиво изобразил нежелание говорить на тему интима.

– Не кипятись, – миролюбиво произнес он, – буди лучше даму и – приглашаю вас обоих испить чашечку кофею с остатками роскоши. – И бесшумно исчез за дверь. И тишина окутала нашу постель. И мир показался крошечным. Хрупким. И... пошлым.

Я, не торопясь, встал.

Оделся.

Тронул за плечо Ульяну.

Она охнула спросонья.

Приоткрыла глаза.

Приподнялась и попыталась обнять меня, но... я уже стоял на другом краю комнаты. На другой остановке. На своем, хоть и в чужом городе, причале. Корабли гудели призывно к отплытию. В соседней «камере» ждали «кофей и остатки вчерашней роскоши».

Начинался новый день.

Да уж, в такой идиотской ситуации я оказался впервые. Впрочем, в жизни все происходит впервые. Каждый новый день – новый. Он не повторяется. Никогда. Ни разу. Его невозможно прожить тождественно прожитому. Насладиться счастьем. Предугадать. Предупредить. Предуведомить. Войти в объятия любимого человека. И не покидать их. Так хочется, но обязательно что-то нарушит ход задуманного. Река натывается на плотину. Становится морем. Или выбирает иной путь. Упорно ищет новое русло. Вода в ней постоянно меняется. А день, выбранный для

повторения, уже с полуночи развивая свой бег по иным законам. Он не подчиняется тебе. Как бы ни хотелось, но просыпаешься мгновением раньше. Или – позже. Не с той ноги, что в прошлый раз, встаешь. Кофе варится быстрее. Он горче и необузданней по вкусу. А то – слаще. Желтки яиц не застывают, как в задуманном дне, ровными кружочками, а растекаются по сковороде. Каша не пригорает. Суп, наоборот, отдает паленым. Лимон с толстой шкуркой, не с тонкой. На работе – суета, вместо желаемого затишья – штормит. И не встречается та женщина. Звонить – значит нарушить ход желаемого течения. А если и договорился с ней заранее – она забывает. Или звонит позже. Или – раньше. Из трубки телефонной доносятся совсем не те голоса. К заключительному акту «представления» ты приходишь в кафе или бар. Куришь. Ментолом отдает от дам, сидящих напротив. Потягиваешь пиво сквозь их разговор о презервативах и преимуществах прозрачной резины перед черной. Они, дамы, пытаются «зацепить» меня. Но по плану – должен дожждаться ее. Она, похоже, забывает прийти. Или не хочет.

Как должно – ничего не происходит.

Я психую. Пылю. Срываюсь. Считаю до ста. Спокойствие не приходит.

\* \* \*

Медленно мир впадает в спячку. Потому что минул Иванов день. Венки опущены в воду. Течение унесло их далеко. Цветные, размякшие, они прибились к чужим берегам. Некоторые унесло к морю. Кто-то наверняка нашел в черноте леса свой цветок папоротника. Светлый. Он уже осчастливил обладателя своего. И все. Давно кончились пляски у костров при свете факелов. Девки нагие не прыгают через костры. Ни одна из них не бежит босой и безодеждной по теплой летней ночи. Не догоняет их никто. Только венки и песни. Песни и венки.

Вскоре за Ивановым днем и Спас яблочный наступил. Совсем осеннее время.

Я ездил к брату в деревню. На рыбалку. Или порой брал снасти и так, без особого направления, наудачу, ехал в пригородном автобусе до какого-нибудь неизвестного загородного озерка. Ловил в основном карасиков величиной с ладошку. Пожарить на раз. Ночевать в подлеске или поле не отваживался. Ночи заполнились холодом и росами. В детстве думалось о предосенних временах: «Земля за ночь отпотевает...» Зато августовские звезды светили ярче любых других. И падали чаще. В те далекие времена пришлось однажды даже искупаться в предутренний час. В детстве.

Рыбачить приехали мы, десятиклассники, километров за пятьдесят от города. Конечно, с ночевкой. Первым делом устроили шалашик из веток на берегу озера. Натащили из ближайшей копны сена. Клев случился зверский. На хорошие рыбные шашлыки и уху улова хватило с лихвой. Стемнело. Высыпали звезды. Помалу похолодало. Поплавки притихли. Вскоре их вообще разглядеть стало невозможно. Приготовили ужин. Согрелись у костра. Говорили. О чем? Теперь трудно вспомнить. Скорее всего – фантазировали о женщинах. По спинам полз холодок. Он начинал проникать в мышцы, в кости. Решение созрело почти у всех одновременно: пройтись по поплавкам фонариками. Потом устроиться в копёшке. В сене всегда тепло. Даже зимой.

Поймали одного окуня граммов на двести. Бешеную красноперку. Азарт придал сил. Холод, казалось, выползал из воды, струился от крохотной деревушки на противоположном берегу озера, заползал неутомимо в души. Спасти могли или костер, или сено. До костра – далеко. К селу – десяток шагов сделать.

Накрылись спальными мешками. В них укутались еще у костра. С маковки копны вглядывались в скользящие спутники, лениво перебрасывались мыслями о посланцах с далеких планет, о похищенных людях; о том, что вскоре сами сможем одолеть космическое пространство; казались себе «отроками

во Вселенной», и никто не думал о сне. Крепились. Хотя тепло сена убаюкивало.

Озябли к четырем утра. Скатились на землю прямо в спальниках. Туман висел плотной простыней. Вода отдавала чернотой неизвестности. Моя удочка медленно и уверенно удалялась от берега. Туда – в дымку неизвестности. Через считанные секунды удилище должно было исчезнуть из виду. Приятель начал спешно снимать телогрейку. Я оказался сноровистее. Тем более помнил – метрах в двадцати от берега начинается тростник. Страх, что туда, в траву, затянет мою снасть, подгонял. На поверку вышло – вспомнил именно вовремя. Удочка замерла. Подергалась. Я уже плыл. Схватил ее. Повернул к берегу. Потянул. Рывком добрался до опоры, туда, где мог встать на дно. Вода опутала кольцом горло. Теплая, словно молоко парное. Снаружи – страшный, жуткий холод, жидкая водяная взвесь в воздухе. Но на берег идти надо. Вода показалась еще теплой. За плечи схватила стылость утра. Помалу подтянул удочку. Перехватил лесу. Выбрал до поплавка. Дальше начинались водоросли. Аккуратно, чтобы не порвать, медленно, осторожно запустил руку внутрь. Нащупал рыбью голову. Холодную. Здоровенную. Скользкую. Захватил под жабры. Восхищение распирало. По липкой слизи на мелкой рыбьей чешуе догадался: «Линь!» Вес определялся трудно. Поднял рыбу над головой. Галопом поскакал к берегу. Позади тянулась удочка. Уже без поплавка. Он оторвался где-то на водном пути. (Потом, днем, мы выловили его.) Только когда ребята принялись за осмотр моего улова, понял – замерз смертельно.

От костра остались слабые угольки. В четыре глотки мы быстро раздули пламя. Проблемой представлялся согрев. Пока нагревались грудь и живот – леденела спина. Подумалось: наверное, лучше будет – забраться в воду и дожидаться там солнца. Благословенного. Всепоглощающего. Огнедышащего. Вода, едва коснулся ее пальцами, превратилась в нечто обжигающее, ледяное. Ребята отдали свои телогрейки, и я снова за-

брался в середине стожа. Только так удалось согреть свои «дохлые» члены. Буквально через полчаса приснилась надежная поклевка. Красная маковка поплавка прыгала на поверхности черной воды. Легкая дымка поднималась в желтое теплое небо. Разлилось солнце по макушкам трав, деревьев, поползло по крышам деревенских домов, задержалось на тарелке самодельной антенны, заглянуло в окна, пригрело. Донеслись звонкие удары пастушьего бича. Мычание буренок. Блеяние овец. Стог, в котором довелось провести остаток утра, вспыхнул. Пламя облизало его споро. Стало страшно, что сейчас вот исчезну в огне, сам стану факелом. Я попытался вдохнуть побольше воздуха и... с высоты хлынули прохладные капли дождя. Нудные. Надоедливые. Осенние. Открываю глаза. Друзья брызгают мне в лицо воду из дырявого флакона из-под шампуня.

– Вставай, рыбак. Макароны с тушенкой поспели. Пока спал, мы окушков надергали. – Это Валерка. Первым из нашей школьной четверки погиб. В Афганистане. Почти в самом начале кампании. В восьмидесятом первом. Он станет водителем БМП. До дома останется два месяца. По сути, так называемое дембельское задание. Там, на горной дороге, он «получит» из гранатомета... Единственный, кто вернется с того задания в «тюльпане» под грифом «Груз-200». Спивающиеся родители получат орден Красной Звезды и похоронку. За казенный счет на кладбище поставят памятник черного гранита. С портретом и надписью: «Погиб при выполнении интернационального долга...» Единственный сын.

Он поливал меня из флакона. Смеялся. Впереди была жизнь и... смерть.

Обратно добирались на попутном фургоне с белой надписью «Хлеб» на синих бортах. Внутри запах подсолнечного масла. В темноте едва угадывали друг друга. Переговаривались шепотом, чтобы не подвести водителя «под монастырь». На задворках хлебокомбината он выпустил нас из вынужденного, но романтического заточения. Олежка бес-

шашабно ударил по рукам с шофером. Тот как-то странно оглядел парня. Из-под рубахи синели полоски тельняшки.

Олег станет моряком торгового флота. Обзаведется квартирой в одном из портовых городов. Как все нормальные люди – женится. У них родится дочь. Жена займется бизнесом и «нарвется». Понадобится внушительная сумма в валюте. Олег уйдет в плавание. Уговорит капитана не своего судна взять в рейс. И они попадут в довольно приличную болтанку под названием шторм. Стихия стихнет, но на палубе не найдут вахтенного матроса. Олега. А когда мне потом расскажут о нем, вспомню его тельняшку. История появления «тельника» на худенькой Олежкиной фигурке так и останется для нас загадкой. А могилой ему будет вечное бескрайнее море. Те, кто носит тельняшки, не должны умирать в тишине, им непривычна твердь земная во всех ее проявлениях. В качестве могилы – тем более.

Николаша. Так мы его назвали после приготовления знаменитой немецкой закуски из лимона, молотого кофе и сахарного песка. Рецепт Николаша привез из демократической Германии, где учился до пятого класса во времена службы отца в составе группы советских войск. Он неплохо рисовал. С первого захода был принят на художественно-графический факультет. Преподавал. Был дважды женат. Как сам говорил по этому поводу: «Все четыре раза неудачно». Однажды, на рубеже десятилетий, бросил работу. Попытался организовать свое дело. Прогорел вчистую. Выволоч из-под шкафа этюдник. Накупил на занятые у приятелей, у меня в том числе, деньги холстов. Расписался. В одночасье стал модным художником. Его полотна скупали в столице за какие-то невероятные доллары и марки. Приглашали на вечеринки, за границу. Он порывался уехать. Потом понял – не сможет без российского разгильдяйства, без расхристанности, необязательности. Правильно жить не для него. За несколько дней

до тридцатипятилетия зайдет ко мне на работу. Так, подходя, бросит:

– Неуютно живу. Пакостно. Вот вчера, к примеру, опять таскался с какой-то. А утром посмотрел старый фильм. Про stalkера. Проводника по землям запретным. – Он начал ни с того ни с сего. С наскока. – С ужасом понял: «Все лучшее позади! Прожито! Испытано! Дальше – только повторения. Цепь. Составы повторений. Товарняки и пассажирские – всё повторения». Стоит ли жить дальше?

– Но ведь у тебя есть картины! Твои детища! Они разные, и каждая – новое! – попытался неуверенно возразить.

– Челуха! Туфта несусветная! Я каждый раз выворачиваю себя наизнанку, как только прикасаюсь к кистям! Я кровью пишу! Каждый раз. Каждый день! Нужно ли кому это?! А пацаны восемнадцатилетние в южной республике головы складывают за какую-то независимость. Или – зависимость. Помнишь Валерку? Он за что? А тут – политика. Везде она, грязная эта штука – политика. Неужто прошлые кавказские войны ничему не научили нас? Ведь с горцами воевать – что с нами немцам в Отечественную пришлось. Нас легче убить, чем покорить! А мои картины... Кому они нужны? Толстозадый толстоусуман? Пошло...

Он резко развернулся и исчез. Что-то, правда, пытался сказать еще о новом замысле. Будто я мог взять кисть и написать его картину...

Николаша повесился за день до тридцатипятилетия. В студии. Среди своих работ. Перед белым холстом громадного размера. На палитре блестели свежие краски. С кистей сняты бумажные чехольчики. И – ни слова. Ни записки. Ни намека.

«Я каждый раз выворачиваю себя наизнанку! Каждый день! Устал мертвецки!» – всплыли обрывки последнего с Николашей разговора.

Его марафонский забег в жизнь кончен.

Нелепый уход близких. Болезненный. Неожиданный. Неприятный. Так уходит лето.

Грязно. Слякотно. Мучительно долго. Тоскливо. И одновременно – скоротечно. Утреннее солнце. Ночные заморозки. Черета перемен. Мокрые ботинки. Хлюпанье раскисшего первого снега. Шуба. Куртка. Теплая шапка. Берет. Кепка. Снова шуба. Все смешалось. Сплошное непонятие. Каша под ногами. Каша сыплет сверху, с неба. Каша в голове.

На следующий после похорон Николая день разбирал на работе газеты. Я их никогда не читаю. Изредка просматриваю. Пробегу по заголовкам. По снимкам. По рисункам. Покажется что интересным – прочту. По диагонали. Суть попытаюсь уловить. Не больше. Выводы? Они позже приходят откуда-то сверху. Вроде – независимо от меня.

В тот день в обычный процесс ворвалась неожиданность. Страшная. Ужасающая.

На газетном снимке стоял прапорщик. Наш российский корешок. В полной боевой экипировке. С «Калашниковым» на гнибе руки. Вместо одного в автомате красовались четыре рожка, связанные светлой изоляционной лентой. Я уже знал казенное определение – чтобы увеличить скорострельность во время ведения боевых действий. Здоровенный парень. На голове – платок. Гимнастерка расстегнута. На левой стороне груди – светлый кружочек медали. Кругом – руины, коробки домов, недалеко сгоревший танк, остов «Нивы». Не вязалась улыбка прапорщика с окружающим «пейзажем». Что-то кощунственное в ней сквозило. Только тут заметил, – одна нога его уверенно водружена на голову убитого человека... Медаль. Голова. Улыбка. Автомат. Ствол упирается в облака. Голова. Медаль.

– Они признают только силу. Они ее уважают. – В другой газете давал интервью корреспонденту майор, только что вернувшийся из служебной командировки на войну. Он рассказывал о наемных спортсменках, которые не сразу убивали русских солдат. Сначала посылали пулю в пах. Потом добивали. Медленно. Методично. О пленных мальчишках



в военной форме, в солдатских погонах. Их иногда возвращали матерям. Избитых. Изломанных. Измученных. Оскопленных. Еще майор с жесткостью поведал об охотниках за... ушами. Но никак не шел из головы тот медальный прапорщик с черным платком на голове.

.....

Позже я забрел на какой-то концерт. Слу чайно. От нечего делать. Опять же привлекла бесплатность посещения. В крохотном зале на втором этаже бывшей школы. Мест свободных не было. Воздух спёрт. Почти недвижим. Никакой сцены. Но – микрофоны, колонки, оператор. Все говорило о серьезности затеи.

Светловолосый, начинающий терять волосы мужичок в свитере и джинсах пел о том, что он у Лены четвертый муж, что она «взяла» его на той неделе. Но он гордится «приобретением». Гитарой, поскольку я не мастер в этом деле, мне показалось, – он владеет отменно. А песня улыбнуться заставила. Вынырнуть помогла из серого бытия. Потом, сорвав аплодисменты, он рассказал о снимке. И запел о том самом прапорщике, приблизительно так:

...У тебя ж не будет ордена!  
Как ты ночью спишь, уродина?!

Потрясение правдой. Что может оказаться сильнее? Когда годами приучают говорить не то, о чем думаешь. Когда мир заключен в одной фразе: «Как бы чего не вышло».

Зрители долго не отпускали парня. Он пел еще что-то. Но это меня уже не интересовало. Осень, одиночество, дождь и пурга – все это я прожил. Обычный набор поэтов-песенников. Я откуда-то знал это. А вот слова жестокой правды комком застряли в глотке. Принялся спрашивать у всех имя человека с гитарой. Откуда такой приехал. Не может быть – чтобы наш, провинциальный. Скорее – посланец полуподполья столичного.

Но вышло все, как в дурном детективе. Оказалось, парень приехал из небольшого городка областного подчинения, что уже больше тысячелетия строит на берегах Днепра свои домики. Там родился и вырос. Туда вернулся и после окончания института. Служил в комсомоле для того, чтобы поскорее его развалить. Писал песни всегда. Противник концертов в их прямом понимании. Ему ближе общение на кухне под водочку и грибочки. Но – чтобы обязательно с гитарой. Звать поэта Вениамином. Фамилия звучная и даже несколько забавная – Будильников.

Захотелось зазвать Веню к себе. Послушать его побольше. Но его уже ангажировали устроители действия. Они его под белы ручки повезли в отдаленный район города. В недоступную глубину. В их мир, отличный по всем параметрам от моего. Жаль, но не пришлось больше встретить Будильникова – человека с небесными глазами, щеточкой пшеничных усов и умной головой, которую начали покидать дурные волосы.

\* \* \*

Река спешила с далеких ледников вниз. В ущелье. По высокогорной полупустыне. Несколько ее рукавов преграждали путь. Иной дороги нет. Наша группа спустилась по склону. Скинули штаны. Не сняли ботинок. Шесть первых рукавов оказались неглубокими. Зато дно – каменистым до невозможности. И ни в одном из них не пришлось намочить трусов. Самым жутким препятствием казалась леденящая вода. На последней водной ленте не повезло. Вода уцепилась за ребра. Туго ударила в живот. Приподняла меня вместе с рюкзаком. Опрокинула вниз лицом. Понесла. Ногами вперед. С бешеной скоростью. Попытки подняться, зацепиться ногами за камни на дне, тщетны. Течение подтащило меня к берегу, когда я уже начал задыхаться и хлебать воду. Шум исчез. Пришла мгла. Густая. Липкая под ложечкой. Нудная. И, как в сказке, я... очутился на берегу. Только голос вывел из оцепенения:

– Я тебе зад не поцарапал о камни? – надомной стоял человек-мускул. Широкие плечи. Бугры мышц. Волосы собраны в хвостик на затылке. Добрый взгляд. Ручищи – подковы гнуть и разгибать.

– Нормально, – растерянно ответил. Выплюнул воду. В «тех самых местах» ощутил легкий зуд. Неожиданно для себя выплюнул: – Удивительно. Шапочку не смыло, – стянул с головы бейсболку, подаренную в давние времена иностранцем.

Человек-мускул улыбнулся. Из-под усов заблестели чесночины зубов. Борода цвета зрелой пшеницы. Накидка времен Великой Отечественной. Явно – трофейная. Спаситель мой вздохнул и... растворился в прозрачном воздухе гор. Я тер глаза. Мотал головой. Вместо человека – вдалеке юрта чабана. От нее скачет на черном коне человек в зимней шапке, телогрейке и кирзовых сапогах. Широкие скулы, узкий разрез глаз, смуглая, почти негритянская кожа. Прямо-таки басмач из ленты «Первый учитель». И река горная – из того же фильма. И небо. И горы. Странно, я никогда не был в горах. Но откуда-то знаю даже название этой местности. Ее называют все сыртами. А перевал, что остался за спиной, кажется, коротким словом Ак-Бель. Белый перевал. Или – Мертвый...

Прилетели снегири. Два пушистых шарика с заиндевелыми спинками. В клювах – по веточке рябины. Промерзшие ягоды цвет не потеряли. Алое на белом. Тревожно. Из-за громадного камня появился черный всадник. Пар валит от лошади. От человека. Птицы не вспорхнули. Не улетели. Наоборот – задорно подбоченились. Взлетели и устроились уютно на плечах призрака. Только сейчас понял – из глазниц не целились в меня «дульца» зрачков. Глаз просто не было. Но он вперил в меня лицо. «Оглядел» с ног до головы. Ухмыльнулся. По-доброму. Птицы все время спокойно, деловито отрывают бусины ягод с веток. Только глаза поблескивают. Вдруг красногрудые летуны замерли. Дождались моего внимания. Мотнули головами в сто-

рону. Всадник сделал то же самое. Повернул лошадь. Шагом направил ее в сторону юрты. Оставалось следовать за ними – странным человеком, лошадью, снегирями. Вперед по сыртам.

Наползли тучи. Капнул дождь. Потемнело. Небо зловеще потемнело. Повалил снег. Запуржило. Заметелило. Метров за десять ничего невозможно разглядеть. Иду на ощупь. Впереди едва маячит кобылий хвост. Ориентир. Камни присыпало белизной. Поскользнулся. Не упал. Продолжил движение. Ну, вот и она. Благословенная юрта. Войлочная. Из отверстия в центре крыши струится дымок. Его подхватывает метель. Швыряет из стороны в сторону. Как утлюю лодчонку в штормовом океане. Растаскивает, раздирает на атомы. На помощь подлетают новые дымовые струйки. Почти рядом, в снежной августовской круговерти, угадывается отара. Кое-где животные сбились небольшими группками. В большинстве – по пять-семь в комочек. Чтобы не замерзнуть, не потеряться, не быть съеденными бродячими волками. Возле входа – подобие футбольных ворот в миниатюре. Метра три длиной, полтора по высоте. На перекладине – свежая тушка небольшой овцы. Без шкуры. Еще кровит. Еще парит. Опять возникает знание – так вялят мясо для приготовления из него бешбармака.

Проводник спешивается. Привязывает лошадь к «воротам». Снегири алыми пятнами грудок вспыхивают на луке седла. Птицы невозмутимо продолжают поклевывать рябину. Хозяин отбрасывает полог юрты. Наклоняюсь. Вхожу. Теплом обдает. Войлок шуршит за спиной. Опускается. Позади – никого. Оглядываюсь. Действительно никого. Кирпичная стена. Штукатурка местами отбита – следы пуль и осколков. Вместо двери – дыра. Груда кирпича. Щель. В ней – солдаты в касках и бинтах. Один все палит куда-то в сторону. Из-за угла «выглядывает» нос бронемашин. К ней ползут люди. Бинты чернеют на глазах. Появляются новые пятна крови. В щели остаются двое раненых и пулеметчик. Один из раненых орет прямо в каску стрелку:

– Валера! Пошли! Броня ждет! Все уже там!  
– Идите! Прикрою! – упрямо твердит Валера. Посылает короткую очередь. Вглядывается. Улыбается даже.

– Ты же тоже ранен! Пошли! – орет и пытается тащить того вместе с пулеметом.

– Царапина. Плевать! Уходите, – спокойно, размеренно бросает, – догоню.

Двое остаются. По броне машины цокает. Пуля врывается в Валерино плечо. Рука повисает. Кровь. Товарищи хватают Валеру и тащат к углу. К машине.левой рукой пулеметчик все еще сжимает пулемет. Трое исчезают в открытом люке. Бронированное зеленое чудище фыркает. Вздыхает. Лениво уползает назад. Из зоны огня. Через два квартала чудище размолачивают из гранатометов. Но оно не вспыхивает. Замирает. Несколько человек, что сидели на броне, успевают «свалиться» и нырнуть в остатки дома. Никто их не замечает. Остальные раненые – корчатся на асфальте. Кто-то в последних столах зовет маму...

Из оконных проемов, дыр в стенах появляются люди в полувоенном. Хладнокровно, с улыбкой добивают солдатиков. Из автоматов. Штык-ножами. Кинжалами – заученно, бесстрастно рассекают глотки. Умиленно любят пусырящейся темной жидкостью. Мольбой? Ненавистью в потухающих глазах?

Из машины вытаскивают еще живых и уже мертвых. Всех. Живым – нож, пуля или кинжал. И Валере. Его расстреливают уже недвижимого.

Сажу на железобетонной балке. В ранге стороннего наблюдателя. Пытаюсь кричать. Звук застывает в груди. Все вокруг существуют помимо меня. Независимо от меня. От моих желаний. Даже шальные пули пролетают, не причиняя вреда. Обхватываю голову руками. Сдавливаю. До боли. До слез. До крика. Он наконец вылетает. Вонзается в стены. Отскакивает. Шмякается о мостовую. Снова – о стену. И о тротуар. Закрываю глаза. Откидываюсь на балку спиной. Наваливается тишина. Снег падает на лицо. Волосы намокли. Плечи. Ухожу в себя. Блуждаю по

душным улицам; по комнатам, в которых гуляют сквозняки; по крышам среди вентиляционных труб, вдоль водосточных желобов. В доме с толстыми стенами, с долгим рядом окон – бесконечное количество кроватей. Они застелены солдатскими одеялами. Часть одеял свалена в кучу. Я один. Сажу на паркетном елочкой полу. Холодно. Лак блестит. Из-под крыши, с высокого потолка срываются капли белесой воды. Постепенно образуется лужица. Она растет. Подползаю ближе. Заглядываю в воду. Ловлю отражения. А внутри уже возникло течение. Ржавые водоросли колышутся в ритм потоку. Под ними идут люди. Доносятся их голоса. Ничего определенного. Гул. Сплошной. Трескотня. Выделить не могу ничего. Ни слова. Ни буквы. Ничего. Мелькают лица, похожие друг на друга, как дождевые капли. Проскакивают образы человека-мускула, всадника, мамы, снова человека, Анны. Она улыбается приветливо. Что-то пытается сказать. Голос смыывает вода. С течением «приплывает» черная тень. Оуптывает Анну. Запихивает в свою пасть. Торопится дальше. Восковая голова Валеры. С ухмылкой. Со снисхождением. А губы шепчут. Беззвучно. Бесцветно. Заученно:

– Валера, пошли...

– Идите, прикрою...

– Ты же ранен...

– Плевать... Прикрою...

– Валера, идите, ранен, плевать...

Я плачу. Растираю слезы по щекам. Как в детстве. Всхлипываю. Набираю побольше воздуха. Чтобы голоса не подать. Закашливаюсь. Кашель давит от печени. Легкие не выдерживают. Трещат от напряжения. Пена подкатывает к зубам. Кровавая. Густая. Снова захлебываюсь. Хватаю себя за горло:

– Хватит!

И просыпаюсь от собственного:

– ...ти-ит!

Потолок бел. Почти прозрачен. За окном теплынь. Пахнет пирожками и сладким. Зато в подъезде навеки прописались запахи жареной, на подсолнечном масле, картошки, щей и квашеной капусты.

Вытер парнину. Потянулся. Зевнул. Даже самому понравилось.

Умылся.

Сварил кофе.

Сел за стол.

Только теперь, за кухонным столом, понял: сегодня предстоит самый настоящий, до банальности глупый и бездарный трудовой день. Один из множества близнецов-будней.

\* \* \*

Как же я ошибался в то утро! Тогда, в обеденный перерыв, выбежал в булочную. Встал в очередь к кассе. Заплатил. Получил чек. Из «окна» дама в несвежем халате, но с ярко накрашенной улыбкой подала батон и пакет. Бесшабашно схватил хлеб. Двинул его в целлофан. Передо мной возникли женские сапоги. Перевел взгляд выше. Джинсы. Черные. Бежевый пиджачок. Черная блузка. На кожаном шнурке кулончик с желтыми вкраплениями...

– Тайка! – так громко давно не восклицал. Очередь уставилась десятком пар глаз в наши лица. Я вопил: – Откуда?!

– Ну и глупый же ты! Хлеб покупала. Ты почти за мной стоял. Весь в своих думах. Не подходите – укушу! Не мешайте. – Ласковая улыбка обескуражила. Какой-то чудный мир вспыхнул и исчез в ее голосе.

– Вообще-то поговорить можно и на улице, – ругательно произнесла из очереди старушка с прошлогодним лицом.

Мы встретились неприлично громко. Мы преминули воспользоваться бесплатным советом. Дверь туго шлепнула. Отсекла очередь, кассира, буханки, пакеты, лестницу на второй этаж, где прежде подавали отвратительный кофейный напиток, а теперь наливают горькую, полки с печеньем, чаем, шоколадом за стеклом. На улице – шелест. Листьев. Платьев. Газет на столике продавца. Обложек книг на развале. Тента над квасной бочкой. Крыльев чайки, внезапно вспыхнувшей теплой звездой в зените, над крышами и башенками города. Мы остановились у пушек. На одной сидел мальчуган лет трех. Об-

лаченный в джинс, он казался слишком самостоятельным для своих лет. Он «прицеливался» в витрину гастронома. Сам себе командовал: «Огонь!» После «выстрела» соскакивал на тротуар. Игриво запикивал в дуло мнимый снаряд. И снова бежал целиться. Боязнь «быть убитыми» заставила шагать в сторону сквера, где бронзовый олень, бесхвостые львы и тучная дама-фотограф с «Зенитом» на том месте, где заканчивается серьезная грудь. Что-то бестолковое лопотали с Тайкой. В часы обеденного перерыва страна устраивается на лавочках, по ним бродят лучи светила. Отдохнуть от головолomных трюков с финансовыми документами, ревизиями, отчетами; от нападков начальства – зачастую необоснованных, глупых. Нам повезло со свободным местом! Не устраивало одно – на душевную беседу абсолютно не хватало времени. Через десять минут я обязан был смиренно перевертывать бумаги. Но этих минут хватило. Мы выяснили степень свободы каждого. Обменялись телефонами. Попрощались до завтра, поцеловались. Тая скользнула по дорожке. Весело напевала что-то типа: «Возьми меня с собой завтра в море, я знаю скалы, у которых по ночам много рыбы...» Я по пути в «камеру пыток» (так иногда называют рабочее место) схватил в уличном ларьке пару пива. Холодного. Ядреного. На ходу прикончил одну. Опустил пустую стекляшку в урну на углу гранитного крыльца с желтыми колоннами в стиле «а-ля Санкт-Петербург». Жевательная резинка «спрятала» характерный запах напитка из солода и хмеля. При молчаливом одобрительном взгляде шефа (до окончания перерыва оставалось полторы минуты) осушил вторую склянку. Улыбнулся благодарно. Он молча согласился. (Он-то ведь не знает, что это вторая...)

Потом казнил себя за пиво, смешанное с беспечностью.

Утром едва проснулся. Говорить не могу. Встал. Резво. Так же скоро сообразил – работа отменяется. Вместо горла – обледенелая труба. Озноб. Суставы разламываются,

трещат, пылают. Упал в постель. Укутался в одеяло. Свернулся калачиком.

Наступил мир детства.

Мамины добрые руки. Папа хлопчет у керогаза в коридоре. Греет молоко. Наливает его из белой кастрюльки с черными ручками в кружку, белую. Белое из белого и – в белое. Из банки черпает ложку золотистого меда. Его в банке так много, что сразу не съешь. Но золото с ложки стекает в молоко. Исчезает в нем. Растворяется. Над кружкой поднимается пар. Папа сыплет в молоко щепотку порошка. Снова белого – в белое. Меня трясет и колотит. Зубы стучат дробью. Мамина слезинка щекочет щеку. Мамина рука на моем горячем лбу. Молоко стало теплым. Папа снимает пенку. Он знает, – я не люблю эту тягучую липкость на поверхности молока. Теперь можно пить. Глотаю с трудом. Но есть такое слово «надо». Проглатываю всё. Жарко. Мама снимает с меня майку, трусы. Вытирает жестким полотенцем. Одевает в сухую одежду. Холод уходит. Наступает время тепла. Полузабытья. Полусна. Все происходит под непрерывные вздохи родителей.

Снова знобит. Будильник усердно показывает четверть одиннадцатого. Добираюсь до телефона. Занято. Набираю снова. Шеф недоволен мурлычет:

– Алло, вас слушают. У телефона...

Сквозь полубред хрипло делюсь неприятной новостью. Шеф сам вызывает мне врача. Но еще один звонок – Тае. «Дотягиваю» до одиннадцати. Заветный листок с номером телефона – у аппарата. Ласковый голос Таи убаюкивает. Хочется тут же уснуть. На все вопросы отвечаю односложно. С сожалением сообщаю, хоть и ненавижу ложь, что уезжаю в командировку недели на две. Даже сквозь огонь в голове улавливаю грусть. Или мне хочется слышать именно такие нотки, потому они чудятся?

– Володенька, я волнуюсь, – проурчало в наушнике.

– Ничего, – хрипнул в ответ. Попытался перевести в шутку грусть, вспомнил некогда заученное, – не пройдет и полгода...

И снова оказываюсь прав.

Банальная ангина обратилась в воспаление легких. Участковый врач настоял на отправке больного в стационар. Зад через несколько дней зудел от ежедневных вливаний антибиотиков и витаминов. Уколы, казалось, «лепить» некуда. Только медсестру с прозвищем Валька-гестапо ничего не волновало. Она слепо выполняла указания врача. А колола не рукой – кувалдой. За что и получила столь милую кличку. Каждый раз, когда она обнажала иглу, блестящие ягодицы жертвы судорожно напрягались. Ее движение «к больному» сопровождалось проворным скольжением последнего от руки со шприцем. Только побеждала всегда Валька-гестапо. Сосед по палате ненавидел ее лютой ненавистью. Зато при его помощи наша палата находилась на дополнительном пайке. Его юношеская любовь заведовала поварами и продуктами в столовке стационара. Поначалу я комплексовал: как-то нехорошо, когда человек нахально «пользуется» добрым отношением другого человека. Но, поразмыслив, решил реагировать на его кухонные походы спокойней. Приобрелся к доппайку. Приятно все-таки, кроме обычных больничных обедов, перекусить малым кусочком колбасы или мяса, селедочкой или рыбным филе с неконтролируемым количеством картошки. Постоянные предложения выпить сдерживались ежедневным «приемом» антибиотиков.

К моменту выписки я взвыл не только от нудности распорядка дня, одинаковых каш, картофельных пюре, жареной и вареной рыбы, ошалел от бесконечного количества сериалов и фильмов низкого пошиба, чуть не сошел с ума от рассказов соседа о прелестях заведующей столовкой и от того, что зад, казалось, вот-вот лопнет от лекарств. Был еще один момент, удручавший меня – провинциального обывателя. Осень вступила в свои права. Она вышла на тропу войны с летом. Выкрасила кроны кровью тепла. Превратила лужи в стекло. Заглянула за угол ближайшего дома. Там охотники обложили болотца. Взвели курки. Щелкнули затворами. Спаниели,

гончак и лайки насторожились. Наконец резануло подвистом долгожданное: «Ищи!» И поводки ослабли. Освободили готовые к поиску души псов. Засвистел ветер. Разлетелся лай. Захлопали крылья поднятых с воды уток, чирков, селезней. Воздух раскололся выстрелами. Гоготом и матерными излияниями по поводу промахов. Собаки захлюпали по воде в поисках птичьих трупиков или подранков. Пух и перья покрыли поверхность воды. Смешались с опавшими листьями. С мертвыми листьями на остывающей, ртутной, тяжелой воде. Мертвые тела, продырявленные кусочками свинца. Стволы дымятся убийственным теплом, пороховой гарью. В траве – картонки и войлок пыжей. Следы. Окурки. Случайно просыпавшаяся махра.

В городе – грязь и вода. Преодошение затяжных дождей. Непроходящей сырости в ботинках. Мокрых плащей и курток. Скверный сон – зима. Скорее, не сон – дыра в жизни. Перед ней необходима легкая дразнилка осени. Отпускной сезон вышел погулять до будущего лета.

Жизнь одаривает массой случайных знакомств. Одни проходят незамеченными, другие заставляют возвращаться к ним время от времени. Именно в больничной серости случай свет меня с Валеркой. Он оказался моим соседом. Тем самым, который «крутил» с заведующей столовой. Про таких, как Валерка, говорят: «Чисто русский, не обделенный силой, статью, с кудлатой, слегка взлохмаченной бородой и голубыми до невозможности глазами». При наличии этих характеристик он оставался наивным, тихим, робким, даже, скорее всего – кротким. В городской больнице он очутился впервые. Может, чтобы встретить подругу юности, теперь заядлую урбанистку.

Иногда Валерка хандрил. Его привезли на «скорой» в полубреду. Но и в этих обстоятельствах он не смог оставить дома любимую двухрядку. В его ручищах, прошитых толстыми веревками вен поверх монументальных кистей и болванок-пальцев, эта гармошечка, доставшаяся от деда по наследству,

казалась игрушечной. Этойкой пластмассовой «штучкой», купленной по случаю недалеко – в «Детском мире». Но инструмент, наряду с одеждой, отняли санитары, закрыли в местной «камере хранения». Из-за отсутствия инструмента он тосковал. Вздыхал шумно своими «кузнечными мехами».

– Э-эх, – протяжно летело к плафону под потолок, – постонать бы вместе с песнями, и отворачивался лицом к стене.

Еще одна его слабость – философствования о жизни. Такие мысли могли зародиться только в голове мужика, выросшего в глухой, далекой от асфальта деревне. Тот «край» все горожане называют озерным.

После восьмого класса Валерка сел на трактор. Так с него и не слезает.

– А что еще делать? Пахать да сеять тоже ум надобен, – надежно утверждал он.

Жизнь на одном месте его не тяготила. Он провел в одной деревне «все времена своего бытия» (так любил говорить), но умудрился жениться совсем не по деревенскому обычаю – в четвертый раз незадолго до временного отъезда в областной центр. На лечение. Для любой деревни цифра «два» (в смысле женитьбы) представляется трагедией. Для него трагедии не произошло.

– Валер, отчего ты с первой женой разошелся? – вопрошал как-то битюга-Валерку, лежащего на соседней кровати.

– Да, маманя ее сказала: «Гони. На кой тебе верзила этот надо? Работать-то работает. А жрёт? Не укормишь!» Я и пошел после тех слов. Сам. Чего гнать меня?

– А вторая?

– Мужик ейный из тюрьмы пришел. Меня выгнал.

– Разве можно тебя выставить? Ты ж здоров, как африканский носорог! – все еще недоумевал.

– Он еще покрепше меня будет. Поболе. Посочней. Покрученей. Законник, опять же. А их «обижать», что мужику рожать. Себе хуже сделаешь.

– С третьей-то женой что стало? Кто кого выгнал?

– Не, – заржал Валерка, – сам утек. Норов стала показывать. Сквородками кидаться. Блажить, как на пожаре. Не-е. Не для меня это. Не люблю этого. Как не сдержусь?! Я ж могу и в ответ затрещину вклеить. А бабу жалко. Рука-то у меня тяжеловата. Вдруг прибью ненароком? Потому – повернулся и пошел.

– Не надоело жениться-то? К чему в четвертый раз полез на то место, где уже трижды побывал и соли нахлебался?

– Так без бабы в дому нельзя. Знаешь, мне всегда вспоминаются эти, как их? – внезапно задумался Валерка. Свернул «козью ножку». Запахло самосадом. Закончил фразу: – Дворяне. – Тут я вообще опешил. – Между собой все на «вы». Впрочем, все зависит от воспитания. Так вот. Утречком встает. Позавтракают. Вместе. Перед завтраком непременно проурчат премило: «С добрым утром...» Он поедет в город. В карты или еще во что сыграть. Может – на бега. Тысчонку-другую оставить или приобрести. Она – в город. В музыкальный салон. Спросит нотных изданий. Купит несколько. Домой вернется. Проиграет на фортепиано новую музыку, значит. К вечеру все соберутся за столом. Отобедают. К ночи он снова уедет. Конечно, – расписать «пульку». Она уснет. Он вернется под утро. Усталый. Хмельной. В выигрыше или проигрыше. В первом случае – довольный, напевает или насвистывает «На сопках Маньчжурии». Или еще какую прелестную мелодию. В другом... в морду дворовому торнет, чтоб под ногами не путался. А у нас? Каждый день надобно говорить: «Да, милая, шти твои мне по нраву. Солоноваты только чуть. А вот мяско удалось. Уварилось». Зачем, спрашивается? Одни вопросы, одни ответы кажен день. Любовь? Может, нету ее вовсе.

– Как же другие живут? Десятилетиями вместе?

– Понимаешь, Володя, весь круг людской вертится возле десяти-двадцати человек. Этаким малый. слово выучил специальное – мегаполис семейный. – Я ничего не понял.

Валера уловил недоумение. – Объясняю. С каждой или с каждым из этого самого мегаполиса можно составить семью. Реальную. Надежную. Удалось сразу – слава богу. Нет? Ищи. Главное где-то рядом. «Перебирай» десяток. Вот четвертую свою супругу, думается, нашел. Чую – она. Опять же – без бабы в дому трудно.

Говорили о многом. Отчего-то эти рассуждения Валерки остались со мной. Причем не о количестве женитьб, а о том, что вокруг любого человека сконцентрирован добрый десяток близких ему людей. Людей, с которыми возможна самая что ни есть настоящая жизнь. Долгая, трудная, трепетная. А по-другому разве бывает?

– Мегаполис, – я перешагнул лужу возле универмага. Из дверей его вылетела девица в «ботфортах», черных колготках, джинсовой куртке поверх водолазки. Широко шагнула, бросила подругам назад:

– Да я спокойно пройду здесь. Прямо по луже. Сапоги высокие, – и вошла смело. Стопа подвернулась. Девица рухнула в прохладную грязность. Кольцо воды сомкнулось на шее. Смеяться принялись не только подружки. Вся площадь перед торговой точкой залилась смехом.

Над головами нежданно рвануло. Самолет преодолел воздушный барьер. У стены тюрьмы (по стечению обстоятельств, здание с глухим кирпичным забором, выстроенное во времена Екатерины Великой, осталось стоять в центре города) тоже грохнуло. Незадачливый автомобилист припарковался на углу этой самой стены. Сверху сорвался кирпич. Не описал дуги. Просто упал вниз. На оранжевый багажник «жигуленка». Вмял поверхность, развалился на несколько крупных частей. Из-за баранки выполз водитель.

Сначала – глаза. В них:

Испуг.

Ужас.

Кошмар.

Злоба.

Ненависть.

Растерянность.

Все скакало. Металось. Со стороны зрелище показалось жалким: двухметровый гигант втянул голову в плечи. Согнулся. От этого казался еще комичнее, чем выражение его глаз. Сделал шаг. Обозрел покореженный багажник, вдавленную крышу.

Доброхоты собрались быстрее, чем хозяин вылез из своего покореженного детища.

– Хорошо, не с высоты самой ухнул, – встретили его незнакомцы, – отрихтовать можно. Даже непроблематично. Несколько часов работы. С покраской сложнее. Колер подбирать тяжело, – доброхоты всегда знают намного больше, чем знают. Но вид всезнания на их лицах написан в такие минуты настолько убедительно, что на самом деле хочется верить. Они же – почешут языки, почешут в затылках, плюнут: «Ай, ерунда, день работы». Словно это – смахнуть щеткой или тряпкой кирпичную крошку. И двинутся в магазин. За водкой. Потеря грусть навеивает. Ее надо развевать. Грусть эту.

...Еще неделю знакомая участковая докторша прокантовала меня дома. Чтобы окреп. Возмужал. Разрешалось: ходить в магазин (ненадолго), смотреть телевизор (или не смотреть), читать (что за болезнь без книги), есть, пить, принимать гостей. Последних, кстати, было немного. Что весьма приятно.

Потом пришло время снова «полюбить» работу. Включиться в бестолковые разговоры о росте цен, невыпадении зарплаты. Все мы – дети своей страны. И никуда от этого не убежать. Мы родились здесь. Научились терпеть, болеть и ничего не бояться с детства. Напугать нас невозможно практически ничем. У нас, выросших в стране всегдашней поговорки: «От сумы и тюрьмы не зарекайся», – кажется, не только головы и зады стали оловянными, но и мозги – медными. Мы привыкли сидеть, ждать манны небесной, удручаться, что не летит она. А тех, кто что-то пытается делать, у нас принято прятать в психушки. Или давить. Как мух, блох или вшей. Таким деятелям жилось в желтых домах всегда нормально. Только невдомек никому – у

нас защитный рефлекс выработан! Не испугаешь нас постоянным повышением цен и понижением заработных плат! Мы сильнее! Оловянее мы!

Шеф для начала решил продлить мой отдых. Отправил в командировку (когда услышал это слово, меня охватил внутренний идиотский смех) – на выставку в столицу. «А почему бы нет?» – согласился с ходу.

\* \* \*

Сажу на вокзале. Ночь полная. Читаю. Что еще делать, когда времени до поезда целых два часа? В красной обложке – Габриэль Гарсиа Маркес. Пробираюсь сквозь казуистику переводчика и цензуры. Чувствую – кто-то мешает. «Не сам ли Маркес?» – мелькает в голове. Скосил взгляд. Мужик пытается читать вместе со мной. Мою книгу! Торопится глазами по строкам. Становится забавно. «Кто может в России заинтересоваться «Палой листвой» Латинской Америки?» Не утерпел. Взглянул прямо.

Худощавый человечек неприметной наружности. Вытянутый багровый нос уточкой. Голубые сощуренные глаза. Легкая краснота выдала бессонницу. Не брит дня три. «Командированный. Таких запросов пропускают в гостиницу без просьбы предъявить «Карту гостя» или ключи от номера», – с досадой подумал про себя. Он несколько пугливо поймал мой взгляд.

– Я тоже Маркеса люблю, – суетливо, сглаживает слова, не от волнения, что его уличили в чем-то нелицеприятном, не то по привычке, затараторил, – я в командировку, – и назвал город за Полярным кругом.

Мне взгрустнулось. Холодно стало.

Странная вещь – человек, которого видишь впервые, может быть, никогда не встретишь более, откровенничает. Вводит тебя в свою жизнь. В свой путь. Без зазрения совести открывает тайное. Интимное. Испытываешь неловкость. Но – слово не воробей. Причем незнакомец, то ли по характеру, то ли по беспардонности, не боится быть нудным, непри-



лично разговорчивым или навязчивым. Ему кажется, собеседник – подопытный кролик и обязан слушать, поддакивать, сожалеть, сопереживать. Главное – участие в его монологе второго лица.

– Я как-то не могу не ездить по стране. Неделя дома обращается в фильм ужасов. Начинает казаться, наступит постоянство. Каждый день ходить на работу. (Я улыбнулся: он про меня сказал. Я привык к постоянству хождения на службу. До тошноты привык.) Выходить из одного и того же подъезда. Вваливаться в один и тот же трамвай. Толкаться. Быть стиснутым со всех сторон. Выплюхиваться на известной до полупрошлогодних объявлениях и царапин «Здесь был Петя», «Хочешь меня? Позвони (далее следует номер телефона)» остановке, что вчера, позавчера. Завтра она ничуть не изменится. Пять дней вылетают обоймой. Все «патроны» дней – в молоко. Выходной обращается в лежание на тахте, вплавляется в рамку телевизора. Те же бабки у подъезда. Кажется, все изменится лишь однажды, когда вынесут тебя из дверей мимо этих старушек. Они не единожды тебя переживут, сидя на вечных, как они сами, скамейках. Что изменится? Никогда больше не подняться по обшарпанным собственными ногами ступеням наверх; не воткнуть, привычно шаря в темноте, ключ в замочную скважину; не толкнуть дверь вперед и, войдя, не щелкнуть звонко выключателем. Вот что изменится. Мне станет ненужным мир. Его потребность во мне тоже упадет...

Я недоумевал. Устал от одних только перечислений. Под ложечкой задрожало. Захотелось хотя бы воды. Он поднялся следом. Словно прилип. Догонял. Схватил свой стакан. Показалось, в то время, когда он пил, продолжал говорить. Глотал и говорил одновременно.

– Уезжать всегда нравится. И возвращаться. Нравится. Сидишь на кухне. Чай гоняешь. Смотришь на карту. «Два дня назад здесь был, – тыкаешь пальцем в какой-нибудь Урюпинск, – а сегодня сажу на своей кухоньке. Чаевничаю». Однажды, правда,

осенило: жизнь проходит в пути. В поездах. Самолетах. Автобусах. На попутных и перекладных. Детей не нажил. Денег не скопил. Дом отцовский – только-то всего. И холодно в нем. Пытался семью сколотить. Думал – влюбился. Решился на штамп в паспорте. Казалось, стану ездить меньше. Не стал. Думал – спешить к очагу, к камельку стану. Не вышло. Понял – больше нескольких дней, максимум месяц, не проживу с одной. Пришлось попортировать паспорт. Ей. И себе. А впрочем, ерунда все. Хрен с редькой. От привычки, жить одиноким волком, избавиться трудно. Скорее – невозможно. Вот она – жизнь. Между городами, но без дома. Среди женщин и без семьи. Повсюду один. И помру, так в полной чужбине, что ни есть интимности.

Я отчего-то вспомнил Николеньку. Его финал. Извинился перед говоруном. Отошел к колоннам вокзала. На улицу. Мужичок опешил.

Объявили мой поезд.

И все-таки позвонил Tae из Москвы. Прямо с выставки. Сквозь неудобство перешагнул. Через молчание. Пусть – вынужденное, но – неведение. Именно в нем пребывала расстроенная женщина.

Как только прилетел ее голос, мир распался до невозможности. Невероятно, но после паузы не прозвучало: «Извините, пожалуйста, Вас не слышно. Перезвоните, будьте добры...»

– Вовка, ты чего молчишь? Пропал, паршивец, в неизвестности. Растворился в своей командировке. А мне остается бросить все и тебя бегать искать по улицам, моргам и больницам?

Оставалось хохмить в ответ. И – не проговориться о прошлой «командировке», в терапевтическое отделение больницы «скорой медицинской помощи».

А она продолжала:

– Надеюсь, теперь не «зависнешь» на два с половиной месяца, и я смогу лицезреть твою рожицу, Владимир, сразу по приезде?

– Обещаю.

– Тогда позвони сразу. С вокзала.

– Но это будет около половины пятого утра!

– Ну и что?! Позвонишь ведь ты, а не сын лейтенанта Шмидта.

– Неловко в такую рань... – чистосердечно обронил с потерянным сердцем. Но переупрямить Тайку не сумел. Согласился на ранний звонок, только так рано еще не звонил никому.

Как только вернулся и ступил на стылый перрон – двинулся не в сторону зеленых огоньков «таксомоторов», к телефону – в тамбур вокзала. Наигранно бодрый, еще сонный голос вселил радость и велел немедленно приезжать. Протесты не прини-

мались. Сегодняшний день раскрыл свои объятия с нежностью. Знание того, что тебя ждут, вселило надежду на тепло. Оно маячило смутно полуразмытым математическим символом, который называется «плюс».

Пять утра дня зимнего солнцестояния. Погода не благоволит. Обещает снежную круговерть. Мы заблудились в ней, как только я покинул салон авто и вошел в дом.

Очнулись совсем не утром.

Равноденствие.

Снег.

Темень долгой и неуютной ночи осталась далеко позади.

В чьей-то чужой прошлой жизни...